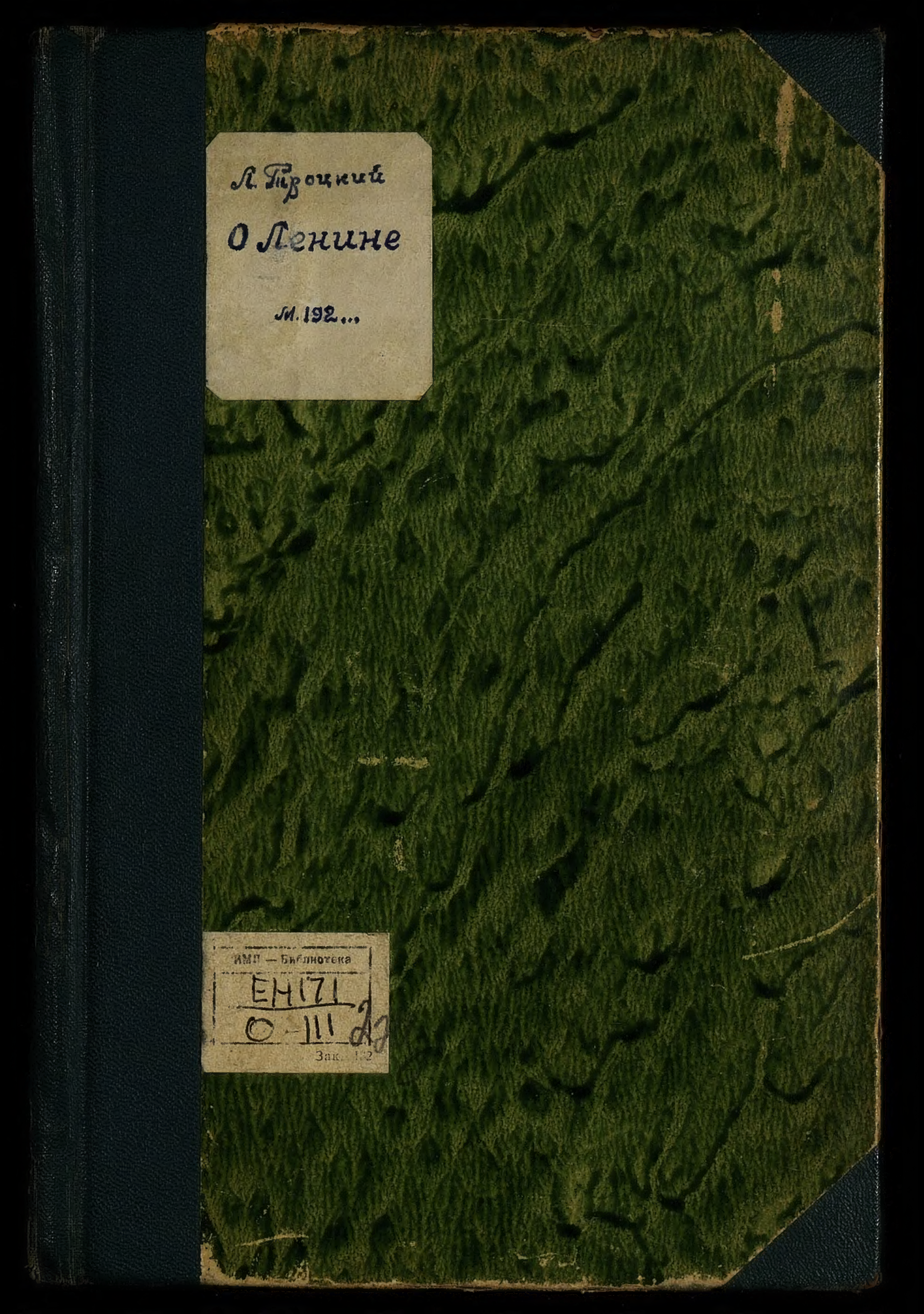
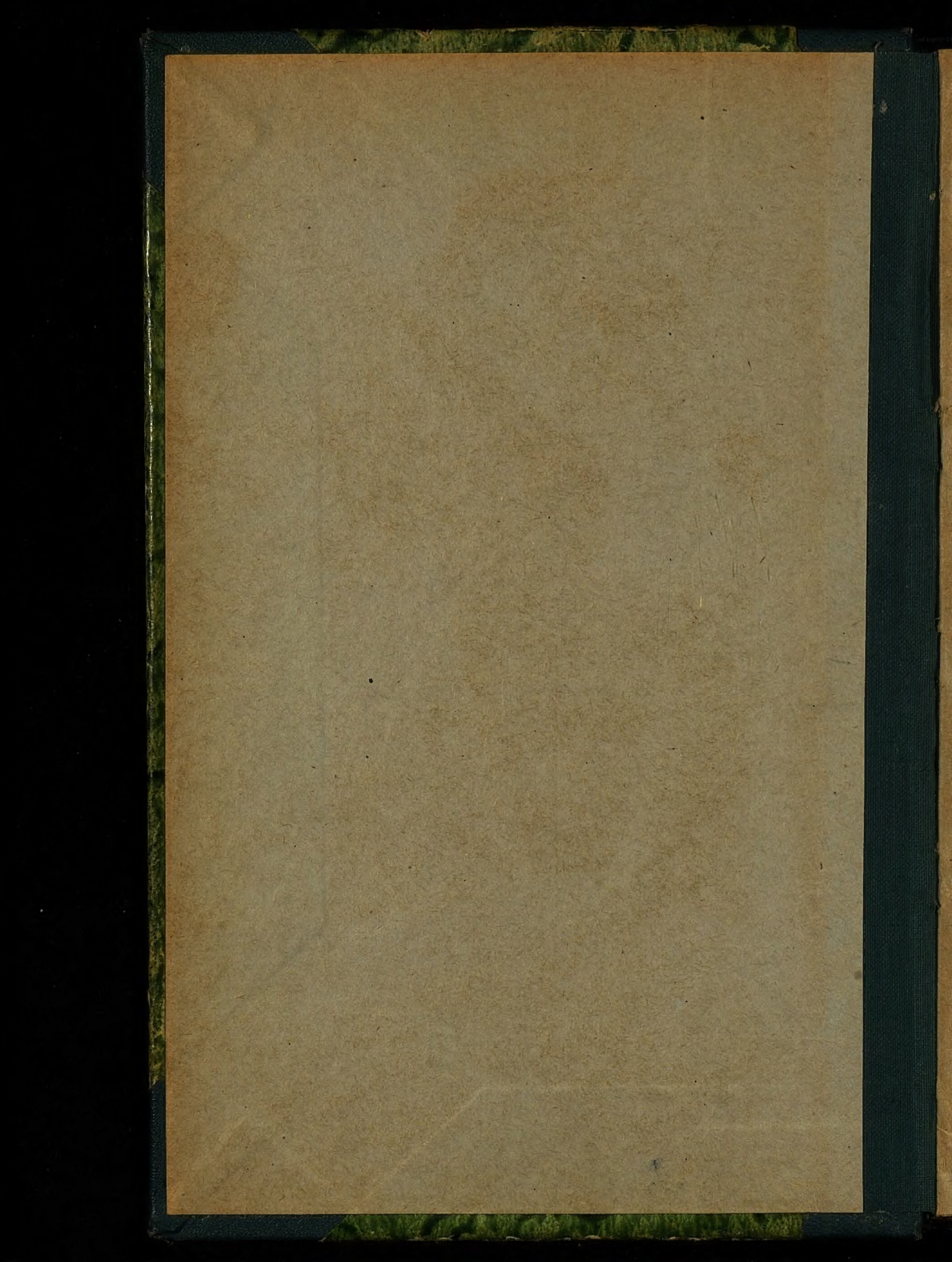

Л. Троцкий
О Ленине
М. 192...
ИМЛ — Библиотека
ЕН171
О-111



Л. Д. ТРОЦКИЙ

О ЛЕНИНЕ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Л. Д. ТРОЦКИЙ

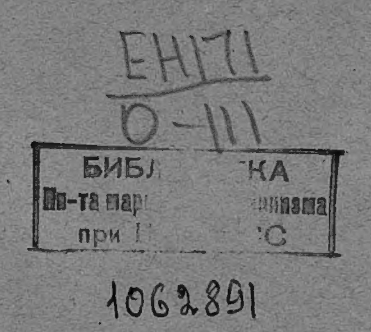
О ЛЕНИНЕ

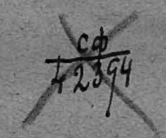
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФА





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА





Гиз. № 7360. Главлит. № 22188. Москва. Напеч. 30.000 экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография. Москва, Пятницкая, 71.

СОДЕРЖАНИЕ



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Эта книга не закончена—и при том в двух смыслах. Прежде всего в ней никак нельзя искать биографии Ленина, или его характеристики, или законченного изложения его воззрений и методов действия. Эта работа дает только некоторые черновые материалы, наброски, эскизы для чьих-то будущих работ,— может быть, и для работы автора этих строк. Подобный „эскизный" подход, однако, неизбежен и необходим. На-ряду с популярными биографиями и общими характеристиками необходима сейчас уже более детальная и тщательная работа закрепления отдельных эпизодов, отдельных черт жизни и личности Ленина какими они проходили на наших глазах. Значительнейшую часть этой книги составляют воспоминания автора о двух периодах, отделенных пятнадцатилетним промежутком: о последнем полугодии старой „Искры" и о решающем годе, в центре которого стоит октябрьский переворот, т. е., примерно, с середины 1917 года до осени 1918-го.

Но эта книга не завершена и в другом, более узком смысле: я надеюсь, что обстоятельства позволят мне дальше работать над ней, вносить в нее поправки, исправлять, уточнять и дополнять ее новыми эпизодами и главами. Болезнь и вызванный ею вре-

менный отход от практической работы дали мне возможность восстановить в памяти многое из того, что рассказано в этой книге. Прочитывая первые наброски, я дальше разворачивал клубок памяти, восстановлял новые эпизоды, значительные уже тем одним, что они относятся к жизни Ленина или связаны с ним. Но этот метод работы заключает в себе то неудобство, что продукт работы остается никогда не законченным. Именно поэтому я решил в известный момент механически обрубить рукопись и в таком виде выпустить ее в свет. Вместе с тем я, как уже сказано, сохраняю за собой право работать над этой книгой и далее. Незачем говорить, что я буду весьма обязан всем участникам событий и эпизодов захваченного мною времени, которые внесут свои поправки или сделают те или другие напоминания.

Не лишне здесь же предварить, что целый ряд обстоятельств опущен мною сознательно, как имеющий слишком близкое отношение к злобам сего дня.

К двум основным частям книги, имеющим характер воспоминаний, я присоединяю те статьи и речи, или части речей, в которых мне приходилось характеризовать Ленина.

Работая над воспоминаниями, я не пользовался почти никакими материалами, относящимися к изображаемой мною эпохе. Мне казалось, что, поскольку я не ставлю себе задачей дать законченный исторический очерк определенного периода из жизни Ленина, а лишь хочу представить кой-какие материалы из первоисточника, каким в данном случае является автор этой работы, будет лучше, если я буду пользоваться лишь источниками собственной памяти.

После того, как работа в основном была написана, я перечитал XIV том сочинений Ленина и книжку т. Овсянникова о Брест-Литовском мире и внес в работу некоторые дополнения. Их оказалось очень немного.

Л. Троцкий.

P. S. При прочтении написанного я заметил, что в воспоминаниях своих называю Ленинград либо Петроградом, либо Петербургом. Между тем, некоторые другие товарищи Петроград старых времен называют задним числом Лениградом. Мне это представляется неправильным. Можно ли, например, сказать: Ленин был арестован в Ленинграде? Ясно, что в Ленинграде не могли арестовать Ленина. Еще менее возможно сказать: Петр I основал Ленинград. Может быть, через годы или десятки лет новое название города, как вообще все собственные имена, утратит свое живое историческое содержание. Но сейчас мы слишком явно и живо ощущаем, что Петроград назван Ленинградом лишь после 21 января 1924 года—и не мог быть так назван раньше. Вот почему я в воспоминаниях сохраняю за Ленинградом то имя, каким он назывался в период описываемых событий.

Л. Т.

21 апреля 1924 г.

ЛЕНИН И СТАРАЯ „ИСКРА“



ЛЕНИН И СТАРАЯ „ИСКРА“.

„Раскол 1903 г. был, так сказать, антиципацией (предвосхищением)...“

(Слова Ленина из беседы 1910 г.)

Несомненно, что для будущего большого биографа Ленина период старой „Искры“ (1900—1903 г.г.) представит исключительный психологический интерес и, вместе с тем, большие трудности: ибо именно за эти короткие годы Ленин становится Лениным. Это не значит, что он дальше не растет. Наоборот, он растет — и в каких пропорциях! — и до Октября и после Октября. Но это уже рост более органический. Велик был прыжок из подполья к власти 25 октября 1917 года; но это был внешний, так сказать, материальный прыжок человека, который все, что можно взвесить и измерить, измерил и взвесил. А в том росте, какой предшествовал расколу на 2-м съезде партии, есть незаметный внешнему глазу, но тем более решительный внутренний прыжок.

Настоящие воспоминания имеют своей целью дать будущему биографу некоторый материал, относящийся к этому чрезвычайно знаменательному и значительному периоду в духовном развитии Владимира Ильича.

1*

Сейчас, когда пишутся эти строки, с того времени прошло уже более двух десятилетий, и притом десятилетий, весьма обременительных для человеческой памяти. Это может породить естественные опасения: в какой мере то, что здесь рассказано, правильно воспроизводит то, что было на деле. Скажу, что такое опасение было отнюдь не чуждо мне самому и не покидало меня во все время этой работы: неряшливых воспоминаний и неточных свидетельств и без того слишком много! Под руками у меня, когда писался этот очерк, не было решительно никаких документов, справочников, материалов и пр. Думаю, однако, что это к лучшему. Мне приходилось опираться только на память, и я надеюсь, что ее самопроизвольная работа при таких условиях была несколько более ограждена от непроизвольной ретроспективной ретуши, которой так трудно избежать даже при самой критической самопроверке. Да и будущему исследователю облегчается этим проверка, когда он займется ею, взявши в руки документы и всякие вообще материалы, относящиеся к тому времени.

Местами я привожу тогдашние беседы и споры в диалогической форме. Разумеется, вряд ли можно претендовать на точную передачу диалогов два с лишним десятилетия спустя. Но суть, как мне кажется, я передаю вполне верно, а некоторые, наиболее яркие выражения—дословно.

Так как речь идет о материалах для биографии Ленина, следовательно, о деле исключительной важности, то может быть мне позволено будет сказать несколько слов о некоторых свойствах моей памяти. Я очень плохо запоминал расположение городов и даже квартир. В Лондоне, например, я не раз плутал на

небольшом сравнительно расстоянии между квартирой Ленина и своей собственной. Долгое время я очень плохо запоминал человеческие лица, но в этом смысле я сделал весьма значительные успехи. Зато я очень хорошо запоминал и запоминаю идеи, их сочетание и беседы на идейные темы. Что эта оценка не субъективна, я имел возможность убедиться путем проверки много раз: другие лица, присутствовавшие при той же беседе, что и я, передавали ее нередко менее точно, чем я, и принимали мои поправки. К этому нужно прибавить то обстоятельство, что в Лондон я прибыл молодым провинциалом и очень хотел как можно скорее все узнать и понять. Естественно, если разговоры с Лениным и другими членами редакции „Искры“ крепко врезывались в память. Вот соображения, которых не сможет не учесть биограф при оценке степени достоверности печатаемых ниже воспоминаний.

* * *

В Лондон я приехал осенью 1902 г., должно быть в октябре, ранним утром. Нанятый мною мимическим путем кэб доставил меня по адресу, написанному на бумажке, к месту назначения. Этим местом была квартира Владимира Ильича. Меня заранее научили (должно быть, еще в Цюрихе) стукнуть соответственное число раз дверным кольцом. Дверь мне открыла, насколько помню, Надежда Константиновна, которую, надо думать, я своим стуком поднял с постели. Час был ранний, и всякий более опытный и так сказать более привычный к культурному общежитию человек посидел бы спокойно на вокзале час—два, вместо того, чтобы ни свет ни заря стучаться в чужие двери. Но я еще был

полон зарядом своего побега из Верхоленска. Таким же приблизительно образом я потревожил в Цюрихе квартиру Аксельрода, только не на рассвете, а глубокой ночью. Владимир Ильич находился еще в постели, и на лице его приветливость сочеталась с законным недоумением. В таких условиях произошло наше первое с ним свидание и первый разговор. И Владимир Ильич и Надежда Константиновна знали уже обо мне из письма Клэра (М. Г. Кржижановский), который в Самаре, так сказать, официально ввел меня в организацию „Искры" под прозвищем „Перо" Так я и был встречен: приехало, мол, „Перо"... Меня напоили чаем, кажется в кухне-столовой. Ленин тем временем оделся. Я рассказывал о побеге и жаловался на плохое состояние искровской границы: она оказалась в руках гимназиста-эсера, который к искровцам, ввиду разгоревшейся жестокой полемики, относился без большой симпатии; к тому же контрабандисты жестоко обобрали меня, превысив всякие тарифы и нормы. Надежде Константиновне я передал скромный багаж адресов и явок, вернее сведения о необходимости ликвидации некоторых негодных адресов. По поручению самарской группы (Клэр и др.) я посетил Харьков, Полтаву, Киев и почти везде, во всяком случае, в Харькове и Полтаве, мог установить крайне слабое состояние организационных связей.

Не помню, в то же ли утро или на другой день я совершил с Владимиром Ильичем большую прогулку по Лондону. Он показывал мне Вестминстер (снаружи) и еще какие-то примечательные здания. Не помню, как он сказал, но оттенок был такой: это у н и х знаменитый Вестминстер. „У них", означало, конечно, не у англичан, а у врагов. Этот оттенок,

нисколько не подчеркнутый, глубоко органический, выражающийся больше в тембре голоса, был у Ленина всегда, когда он говорил о каких-либо ценностях культуры или новых достижениях, об устройстве Британского музея, о богатстве информации „Times'a", или много лет позже — о немецкой артиллерии или французской авиации: умеют или имеют, сделали или достигли, — но какие враги! Незримая тень эксплоататорского класса как бы ложилась в его глазах на всю человеческую культуру, и эту тень он ощущал всегда с такой же несомненностью, как дневной свет. Насколько могу припомнить, я проявил в тот раз к лондонской архитектуре минимальное внимание. Переброшенный сразу из Верхоленска за границу, где я вообще был в первый раз, я воспринимал Вену, Париж и Лондон лишь очень суммарно, и мне было еще не до „деталей", вроде Вестминстерского замка. Да и Владимир Ильич не за тем, разумеется, вызвал меня на эту большую прогулку. Цель его была в том, чтобы познакомиться и проэкзаменовать. И экзамен был действительно „по всему курсу". На вопросы его я рассказывал о составе Ленской ссылки и о внутренних в ней группировках. Главной линией водораздела было тогда отношение к активной политической борьбе, к централистической организации и к террору.

— Ну, а теоретических разногласий, в связи с бернштейнианством, не было? — спросил В. И. Я рассказал, как мы читали книгу Бернштейна и ответ Каутского в Московской тюрьме и затем в ссылке. Никто из марксистов в нашей среде не поднимал голоса за Бернштейна. Считалось как бы само собой разумеющимся, что Каутский прав. Но связи между теоретической борьбой, развертывавшейся тогда в между-

народном масштабе, и нашими организационно-политическими спорами мы не проводили никакой и даже над ней не задумывались, по крайней мере до появления на Лене первых номеров „Искры“ и книжки Ленина „Что делать?“. Рассказывал еще я, что мы с большим интересом читали первые философские книжки Богданова. Помню очень твердо смысл замечания В. И.: и ему книжка об историческом взгляде на природу показалась очень ценной, но, вот, Плеханов не одобряет, говорит, что это не материализм. В. И. тогда на этот вопрос своего взгляда еще не имел, и только передавал взгляд Плеханова, с уважением к его философскому авторитету, но и с недоумением. Меня плехановская оценка тогда также очень удивила. Спрашивал В. И. и об экономике. Я рассказал, как мы в Московской пересыльной коллективно штудировали его книгу „Развитие капитализма в России“, а в ссылке работали над „Капиталом“, но остановились на втором томе. Я упомянул об огромном количестве статистических данных, разработанных в „Развитии капитализма“.

— Мы в Московской пересылке не раз с удивлением говорили об этой колоссальной работе.

— Так ведь это же делалось не сразу, — ответил Ленин.

Ему, видимо, было приятно, что молодые товарищи с вниманием относились к его важнейшей экономической работе.

Заговорили о махаевщине, о том, какое произвела она впечатление на ссылку, многие ли поддались. Я рассказал, что первая гектографированная тетрадь Махайского, доставленная нам „сверху“ по Лене, произвела на большинство из нас сильное впечатление резкой

критикой социал-демократического оппортунизма и в этом смысле совпадала с тем ходом наших мыслей, который вызывался полемикой между Каутским и Бернштейном. Вторая тетрадь, где Махайский „срывает маску“ с марксовых формул воспроизводства, усматривая в них теоретическое оправдание эксплоатации пролетариата интеллигенцией, вызвала в нас теоретическое возмущение. Наконец, полученная нами позже третья тетрадь, с положительной программой, в которой пережитки экономизма сочетались с зародышами синдикализма, произвела впечатление полной несостоятельности.

Насчет моей дальнейшей работы разговор был в этот раз, разумеется, лишь самым общим. Я хотел, прежде всего, ознакомиться с вышедшей литературой, а затем предполагал нелегально вернуться в Россию. Решено было, что я должен сперва „осмотреться“.

Для жительства я был отведен Надеждой Константиновной за несколько кварталов, в дом, где проживали Засулич, Мартов и Блюменфельд, заведывавший типографией „Искры“. Там нашлась свободная комната и для меня. Квартира эта, по обычному английскому типу, располагалась не горизонтально, а вертикально: в нижней комнате жила хозяйка, а затем друг над другом жильцы. Была еще одна свободная общая комната, которую Плеханов окрестил после своего первого посещения вертепом. В комнате этой, не без вины Веры Ивановны Засулич, но и не без содействия Мартова, царил большой беспорядок. Тут пили кофе, сходились для разговоров, курили и пр. Отсюда и название.

Так начался короткий лондонский период моей жизни. Я принялся с жадностью поглощать вышед-

шие номера „Искры“ и книжки „Зари“. К этому же времени относится начало моего сотрудничества в „Искре“.

К 200-летнему юбилею Шлиссельбургской крепости я написал заметку, кажется, первую мою работу для „Искры“. Кончалась заметка гомеровскими словами, или, вернее, словами гомеровского переводчика Гнедича насчет „необорных рук“, которые революция наложит на царизм (по дороге из Сибири я начитался в вагоне „Илиады“). Ленину заметка понравилась. Но насчет „необорных рук“ он впал в законное сомнение и выразил мне его с добродушной усмешкой. „Да это гомеровский стих“, оправдывался я, но охотно согласился, что классическая цитата необязательна. Заметку можно найти в „Искре“, но без „необорных рук“

Тогда же я выступил с первыми докладами в Уайт-Чепеле, где сразился со „стариком“ Чайковским (он и тогда уже был стариком) и с анархистом Черкезовым, тоже немолодым. В результате я был искренне удивлен тем, что именитые седобородые эмигранты способны нести такую явную околесицу... Связью с Уайт-Чепелем служил лондонский „старожил“ Алексеев, марксист-эмигрант, близкий к редакции „Искры“. Он посвящал меня в английскую жизнь и вообще был для меня источником всякого познания. Помню, как я, после обстоятельного разговора с Алексеевым по пути в Уайт-Чепел и обратно, передал Владимиру Ильичу два мнения Алексеева насчет смены государственного режима в России и насчет последней книжки Каутского. У нас смена произойдет не постепенно, — говорил Алексеев,— а крайне резко, ввиду р и ж и д н о с т и самодержавия. Слово рижидность (жесткость, твердость,

несгибаемость) я твердо запомнил. „Что ж, это он, пожалуй, прав“,—сказал Ленин, выслушав рассказ. Второе суждение Алексеева касалось книжки Каутского: „На второй день после социальной революции“. Я знал, что Ленин книжкой очень интересуется, что он, по его собственным словам, читал ее дважды и читает в третий раз; кажется, им же был проредактирован русский перевод. Я только что прилежно проштудировал книжку по рекомендации Владимира Ильича. Между тем, Алексеев находил книжку Каутского оппортунистической. „Ду-рак“, — неожиданно сказал Ленин и сердито надул губы, что с ним бывало в случае недовольства. Сам Алексеев относился к Ленину с величайшим уважением: „Я считаю, что он для революции важнее Плеханова“. Ленину я об этом, конечно, не говорил, но Мартову сказал. Тот ничего не ответил.

Редакция „Искры“ и „Зари“ состояла, как известно, из шести лиц: трех „стариков“, Плеханова, Засулич и Аксельрода, и трех молодых, Ленина, Мартова и Потресова. Плеханов и Аксельрод проживали в Швейцарии. Засулич—в Лондоне, с молодыми. Потресов в это время находился где-то на континенте. Такая разбросанность представляла технические неудобства, но Ленин нисколько не тяготился ими, даже наоборот. Перед моей поездкой на континент он, посвящая меня осторожно во внутренние дела редакции, говорил о том, что Плеханов настаивает на переводе всей редакции в Швейцарию, но что он, Ленин, против перевода, так как это затруднит работу. Тут впервые я понял, но лишь чуть-чуть, что пребывание редакции в Лондоне вызывается соображениями не только полицейского характера, но и организационно-персональными. Ленин хотел в текущей организационно-поли-

тической работе максимальной независимости от стариков и, прежде всего, от Плеханова, с которым у него уже были острые конфликты, особенно при выработке проекта программы партии. Посредниками в таких случаях выступали Засулич и Мартов: Засулич — в качестве секунданта от Плеханова, и Мартов — в таком же качестве от Ленина. Оба посредника были очень примирительно настроены и, кроме того, очень дружны между собою. Об острых столкновениях между Лениным и Плехановым по вопросу о теоретической части программы я узнавал лишь постепенно. Помню, Владимир Ильич спрашивал меня, как я нахожу программу, тогда только что опубликованную (кажется, в № 25 „Искры"). Я, однако, воспринял программу слишком оптовым порядком, чтобы ответить на тот внутренний вопрос, который интересовал Ленина. Разногласия шли по линии большей жесткости и категоричности в характеристике основных тенденций капитализма, концентрации производства, распада промежуточных слоев, классовой дифференциации и пр. — на стороне Ленина, и большей условности и осторожности в этих вопросах — на стороне Плеханова. Программа, как известно, изобилует словами „более или менее": это от Плеханова. Насколько вспоминаю, по рассказам Мартова и Засулич, первоначальный набросок Ленина, противопоставленный наброску Плеханова, встретил со стороны последнего очень резкую оценку в высокомерно-насмешливом тоне, столь отличавшем в таких случаях Георгия Валентиновича. Но Ленина этим нельзя было, конечно, ни обескуражить, ни испугать. Борьба приняла очень драматический характер. Вера Ивановна, по ее собственному рассказу, говорила Ленину: „Жорж (Плеханов) — борзая:

потреплет, потреплет и бросит, а вы—бульдог: у вас мертвая хватка“. Очень хорошо помню эту фразу, как и заключительное замечание Засулич: „Ему (Ленину) это очень понравилось.—Мертвая хватка?—переспросил он с удовольствием“. И Вера Ивановна добродушно передразнивала интонацию вопроса.

При мне в Лондон приезжал на короткое время Плеханов. Тогда-то я и увидел его впервые. Он приходил на нашу общую квартиру, был в вертепе, но меня не было дома.

— Приехал Жорж,—сказала мне Вера Ивановна,—хочет вас видеть, зайдите к нему.

— Какой Жорж?—спросил я с недоумением, решив, что есть еще одно крупное имя, мне неизвестное.

— Ну, Плеханов... Мы его Жоржем зовем.

Вечером я зашел к нему. В маленькой комнатке, кроме Плеханова, сидели довольно известный немецкий писатель социал-демократ Бер и англичанин Аскью. Не зная, куда меня девать, так как стульев больше не было, Плеханов—не без колебания—предложил мне сесть на кровать. Я считал это в порядке вещей, не догадываясь, что европеец до конца ногтей Плеханов мог только ввиду крайности обстоятельств решиться на такую чрезвычайную меру. Разговор шел на немецком языке, которым Плеханов владел недостаточно и потому ограничивался односложными замечаниями. Бер говорил сперва о том, как английская буржуазия умело обхаживает выдающихся рабочих, а затем разговор перешел на английских предшественников французского материализма. Бер и Аскью вскоре ушли. Георгий Валентинович вполне основательно ожидал, что уйду с ними и я, так как час

был поздний, и нельзя было беспокоить хозяев квартиры разговором. Я же, наоборот, считал, что теперь-то только настоящее и начинается.

— Очень интересные вещи говорил Бер,—сказал я.

— Да, насчет английской политики интересно, а насчет философии—пустяки,—ответил Плеханов.

Видя, что я не собираюсь уходить, Георгий Валентинович предложил мне выпить по соседству пива. Он задал мне несколько беглых вопросов, был любезен, но в этой любезности был оттенок скрытого нетерпения. Я чувствовал, что внимание его рассеяно. Возможно, что он просто устал за день. Но я ушел с чувством неудовлетворенности и огорченья.

В лондонский период, как и позже, в женевский, я гораздо чаще встречался с Засулич и с Мартовым, чем с Лениным. Живя в Лондоне на одной квартире, а в Женеве—обедая и ужиная обычно в одних и тех же ресторанчиках, мы с Мартовым и Засулич встречались несколько раз в день, тогда как с Лениным, который жил семейным порядком, каждая встреча вне официальных заседаний была уже как бы маленьким событием.

Засулич была человеком особенным и по-особенному очаровательным. Писала она очень медленно, переживая подлинные муки творчества.—„У Веры Ивановны ведь не писание, а мозаика", — сказал мне как-то в ту пору Владимир Ильич. И действительно, она наносила на бумагу по отдельной фразе, много ходила по комнате, шаркая и притаптывая своими туфлями, без конца дымила свернутыми от руки папиросами, нашвыривала во всех углах, на всех окнах и столах окурки и просто недокуренные папиросы, осыпала пеплом свою кофту, руки, рукописи, чай в

стакане, а при случае и собеседника. Была она и осталась до конца старой интеллигенткой-радикалкой, которую судьба подвергла марксистской прививке. Статьи Засулич свидетельствуют, что теоретические элементы марксизма она усвоила превосходно. Но в то же время нравственно-политическая основа русской радикалки 70-х годов осталась в ней неразложенной до конца. В интимных беседах она позволяла себе будировать против известных приемов или выводов марксизма. Понятие „революционер" имело для нее самостоятельное значение, независимое от классового содержания. Помню свой разговор с ней по поводу ее „Революционеров из буржуазной среды". Я употребил выражение буржуазно-демократические революционеры. — „Да нет, — с оттенком досады или, вернее, огорчения отозвалась Вера Ивановна: — не буржуазные и не пролетарские, а просто революционеры. Можно, конечно, сказать мелко-буржуазные революционеры, — прибавила она, — если причислять к мелкой буржуазии все то, что некуда девать"...

Идейным средоточием социал-демократии была тогда Германия, и мы напряженно следили за борьбой ортодоксов с ревизионистами в немецкой социал-демократии. А Вера Ивановна нет-нет, да и скажет:

— Все это так. Они и с ревизионизмом покончат, и Маркса восстановят, и станут большинством, а все-таки будут жить с кайзером.

— Кто „они", Вера Ивановна?

— Да немецкие социал-демократы.

На этот счет, впрочем, Вера Ивановна не так ошибалась, как казалось тогда, хотя все произошло по-иному и по иным причинам, чем она думала...

К программе земельных отрезков Засулич относилась скептически,—не то что отвергала, а добродушно посмеивалась. Помню такой эпизод. Незадолго до съезда приезжал в Женеву Константин Константинович Бауэр, один из старых марксистов, но крайне неуравновешенный человек, друживший одно время со Струве, а в этот период колебавшийся между „Искрой" и „Освобождением". В Женеве он стал склоняться к „Искре", но отказывался принять отрезки. Ходил он к Ленину, с которым, возможно, был знаком и ранее. Вернулся от него, однако, не убежденным, вероятнее всего потому, что Владимир Ильич, зная его гамлетическую природу, не давал себе труда убеждать его. У меня с Бауэром, которого я знал по ссылке, был длиннейший разговор о злополучных отрезках. В поте лица я развернул перед ним все те доводы, которые успел накопить за полгода бесконечной при с эсерами и всеми вообще супостатами „искровской" аграрной программы. И вот, вечером того же дня Мартов (помнится, он) сообщил на заседании редакции, при мне, что приходил к нему Бауэр и заявился окончательно „искровцем". Троцкий, мол, рассеял все его сомнения..

— И насчет отрезков убедился?—спросила почти с испугом Засулич

— Насчет отрезков особенно.

— Бе-е-едный,—произнесла Вера Ивановна с такой неподражаемой интонацией, что мы все дружно расхохотались.

„У Веры Ивановны многое построено на морали, на чувстве", говорил мне как-то Ленин и рассказал, как она с Мартовым склонились-было к индивидуальному террору, когда виленский губернатор Валь применил розги к демонстрантам-рабочим. Следы этого

временного „уклона“, как сказали бы мы теперь, можно найти в одном из номеров „Искры“. Дело было, кажется, так. Мартов и Засулич выпускали номер без Ленина, который находился на континенте. Получилось агентское телеграфное сообщение о виленских розгах. В Вере Ивановне проснулась героическая радикалка, стрелявшая в Трепова за порку политических. Мартов поддержал... Получив свежий номер „Искры“, Ленин возмутился: „Первый шаг к капитуляции перед эсеровщиной“. Одновременно получилось протестующее письмо и от Плеханова. Этот эпизод разыгрался тоже до моего приезда в Лондон, и потому в фактической стороне могут быть какие-либо неточности, но существо инцидента помню хорошо. „Конечно,—объяснялась в разговоре со мною Вера Ивановна,—тут дело совсем же не в терроре, как в системе; а, думается, что от порок террором отучить можно“...

Спорить по-настоящему Засулич не спорила, публично выступать тем более не умела. На доводы собеседника она прямо никогда не отвечала, а что-то там внутри у себя прорабатывала и затем, зажегшись, выбрасывала из себя быстро и захлебываясь ряд фраз, при чем обращалась она не к тому, кто ей возражал, а к тому, кто, как она надеялась, способен ее понять. Если прения были оформленными, с председателем, то Вера Ивановна никогда не записывалась, так как ей, чтобы сказать что-нибудь, нужно было вспыхнуть. Но уж в этом случае она говорила, совершенно не считаясь с так называемой записью ораторов, к которой относилась с полнейшим презрением, и всегда перебивала и оратора, и председателя и договаривала до конца то, что хотела сказать. Для того, чтобы понять ее, нужно было хорошенько вдуматься в ход ее

мыслей. А мысли ее—были ли они верны или были ошибочны—всегда были интересны и принадлежали только ей. Не трудно себе представить, какую противоположность Вера Ивановна, со своим расплывчатым радикализмом и своим субъективизмом, со своей неряшливостью представляла по отношению к Владимиру Ильичу. Между ними не то что не было симпатии, а было чувство глубокого органического несходства. Но силу Ленина Засулич, как тонкий психолог, чувствовала, не без некоторого оттенка неприязни, уже в ту пору; это она и выразила в своей фразе о мертвой хватке.

Сложные отношения, существовавшие между членами редакции, становились мне доступны лишь постепенно и не без труда. Приехал я в Лондон, как уже сказано, большим провинциалом, и притом во всех смыслах. Не только за границей, но и в Петербурге я до того никогда не бывал. В Москве, как и в Киеве, жил только в пересыльной тюрьме. Литераторов-марксистов знал только по статьям. В Сибири прочитал несколько номеров „Искры" и „Что делать?" Ленина. Об Ильине, авторе „Развития капитализма", я смутно слышал в Московской пересыльной (кажется, от Вановского), как о восходящей социал-демократической звезде. О Мартове знал мало, о Потресове—ничего. В Лондоне, штудируя с остервенением „Искру", „Зарю" и вообще заграничные издания, я натолкнулся в одном из номеров „Зари" на направленную против Прокоповича блестящую статью о роли и значении профессиональных союзов. — Кто этот Молотов?—спрашивал я Мартова.—Это Парвус.—Но я ничего не знал о Парвусе. Я брал „Искру" как целое, и мне в те месяцы была чужда и даже как бы внутренне вра-

ждебна мысль искать в ней или в ее редакции различные тенденции, оттенки, влияния и пр.

Помню, я обратил внимание на то, что некоторые передовые статьи и фельетоны в „Искре“, хотя и не подписаны, но ведутся от местоимения „я“: „в таком-то номере я сказал“, „я уже об этом тогда-то писал“ и пр. Я справился, чьи это статьи. Оказалось, все Ленина. В разговоре с ним я заметил, что есть, помоему, литературное неудобство в неподписанных статьях говорить от местоимения „я“.

— Почему неудобно?—спросил он с интересом, предполагая, может быть, что я выражаю тут не случайное и не свое лишь личное мнение.

— Да так как-то,—ответил я неопределенно, ибо никаких определенных мыслей на этот счет у меня и не было.

— Я этого не нахожу,—сказал Ленин и как-то загадочно засмеялся. Тогда в этом литературном приеме мог почудиться душок „эгоцентризма“. На самом деле выделение своих статей, хотя бы и неподписанных, было страховкой своей линии, как результат неуверенности насчет линии ближайших сотрудников. Тут перед нами в малом виде та настойчивая, упорная, попирающая все условности, ни перед чем формальным не останавливающаяся целеустремленность, которая составляет основную черту Ленина-вождя.

Политическим руководителем „Искры“ был Ленин, но главной публицистической силой был Мартов. Он писал легко, и без конца—так же, как и говорил. Ленин же проводил много времени в библиотеке Британского музея, где занимался теоретически.

Помню, как Ленин писал в библиотечном зале статью против Надеждина, который имел тогда в

Швейцарии собственное свое небольшое издательство, где-то между социал-демократами и социалистами-революционерами. Между тем, Мартов успел уже накануне ночью (он вообще работал преимущественно по ночам) написать большую статью о Надеждине и передать ее Ленину.

— Вы читали статью Юлия?—спросил меня Владимир Ильич в музее.

— Читал.

— Как находите?

— Кажется, хорошо.

— Хорошо-то хорошо, да недостаточно определенно. Выводов нет. Я вот тут набросал кое-что, да не знаю теперь как быть: пустить разве дополнительным примечанием к статье Юлия?

Он передал мне четвертушку бумаги, исписанную карандашом. В ближайшем номере „Искры" статья Мартова появилась с подстрочным примечанием Ленина. И статья и примечание без подписи. Не знаю, вошло ли это примечание в Собрание сочинений Ленина. Что оно написано им, за это ручаюсь.

Несколькими месяцами позже, уже в предсъездовские недели, в редакции эпизодически вспыхнуло разногласие между Лениным и Мартовым по вопросу о тактике в связи с уличными демонстрациями, точнее говоря, о вооруженной борьбе с полицией. Ленин говорил: нужно создавать небольшие вооруженные группы, нужно приучать рабочих-боевиков драться с полицией. Мартов был против. Спор перенесли в редакцию.—А не вырастет ли из этого нечто вроде группового террора?—сказал я по поводу предложения Ленина. (Напоминаю, что в тот период борьба с террористической тактикой эсеров играла большую роль в

нашей работе). Мартов подхватил это соображение и стал развивать ту мысль, что нужно учиться защищать массовые демонстрации от полиции, а не создавать отдельные группы для борьбы с ней. Плеханов, на которого я, да и другие, вероятно, смотрели с ожиданием, уклонился от ответа и предложил Мартову набросать проект резолюции, чтобы обсуждать спорный вопрос уже с текстом в руках. Эпизод этот потонул, однако, в событиях, связанных со съездом

Ленина и Мартова не на собраниях и совещаниях, а в частной беседе, мне довелось наблюдать очень мало. Длинных споров, бесформенных бесед, превращавшихся сплошь да рядом в эмигрантское калякание и судачение, к чему Мартов был так склонен, Ленин не любил и тогда. Этот величайший машинист революции не только в политике, но и в теоретических своих работах, и в занятиях философией, и в изучении иностранных языков, и в беседах с людьми был неизменно одержим одной и той же идеей — целью. Это был самый, может быть, напряженный утилитарист, какого когда-либо выпускала лаборатория истории. Но так как его утилитаризм—широчайшего исторического захвата, то личность от этого не сплющивалась, не оскудевала, а, наоборот, по мере роста жизненного опыта и сферы действия, непрерывно развивалась и обогащалась... Бок-о-бок с Лениным Мартову, ближайшему его тогда соратнику, было уже не по себе. Они были еще на „ты", но в отношениях уже явственно пробивался холодок. Мартов гораздо больше жил сегодняшним днем, его злобой, текущей литературной работой, публицистикой, полемикой, новостями и разговорами. Ленин, подминая под себя сегодняшний день, врезывался мыслью в завтрашний. У Мартова

были бесчисленные и нередко блестящие догадки, гипотезы, предложения, о которых он часто сам вскоре позабывал, а Ленин брал то, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно. Ажурная хрупкость мартовских мыслей заставляла Ленина не раз тревожно покачивать головой. Какие-либо различные политические линии тогда не успели еще не только определиться, но и обнаружиться; лишь задним числом их можно прощупать. Позже, при расколе на 2-м съезде искровцы разделились на твердых и мягких. Это название, как известно, было в первое время в большом ходу, свидетельствуя, что если еще не было отчетливой линии водораздела, то была разница в подходе, в решимости, в готовности итти до конца. Возвращаясь к отношениям Ленина и Мартова, можно сказать, что и до раскола, и до съезда Ленин был „твердый", а Мартов—„мягкий". И оба это знали. Ленин критически и чуть подозрительно поглядывал на Мартова, которого очень ценил, а Мартов, чувствуя этот взгляд, тяготился и нервно поводил худым плечом. Когда они разговаривали друг с другом при встрече, не было уже ни дружеских интонаций, ни шуток, по крайней мере, на моих глазах. Ленин говорил, глядя мимо Мартова, а у Мартова глаза стеклянели под отвисавшим и никогда не протиравшимся пенснэ. И когда Владимир Ильич со мною говорил о Мартове, то в его интонации был особый оттенок: „Это что ж, Юлий сказал?", при чем имя Юлия произносилось по-особому, с легким подчеркиванием, как бы с предостережением: „хорош-то хорош, мол, даже замечателен, да очень уж мягок". А на Мартова влияла, несомненно, и Вера Ивановна, не политически, а психологически отгораживая его от Ленина. Раз-

умеется, все это больше обобщенная психологическая характеристика, чем фактический материал, и притом характеристика, даваемая 22 года спустя. За это время многое легло на память, и в изображении невесомейших моментов из области личных отношений могут быть и неправильности и нарушения перспективы. Что тут воспоминание и что невольная реконструкция задним числом? Но думается мне, что в основном все же память восстанавливает то, что было, и так, как было.

После моих „пробных“, так сказать, выступлений в Уайт-Чепеле (Алексеев давал о них „отчет“ членам редакции) меня отправили с рефератом на континент— в Брюссель, Льеж, Париж. Реферат у меня был на тему: „Что такое исторический материализм, и как его понимают социалисты-революционеры“. Владимир Ильич очень заинтересовался темой. Я давал ему на просмотр подробный конспект с цитатами и пр. Он советовал обработать реферат в виде статьи для ближайшей книжки „Зари“, но я не отваживался.

Из Парижа меня вскоре вызвали телеграммой в Лондон. Дело шло об отправке меня нелегально в Россию, по мысли Владимира Ильича: оттуда жаловались на провалы, на недостаток людей, и, кажется, Клэр требовал моего возвращения. Но не успел я доехать до Лондона, как план уже был изменен. Л. Г. Дейч, который проживал тогда в Лондоне и очень хорошо ко мне относился, рассказывал мне впоследствии, как он „вступился“ за меня, доказывая, что „юноше“ (иначе он меня не называл) нужно пожить за границей и поучиться, и как Ленин, после некоторого спора, согласился с этим. Очень заманчиво было работать в русской организации „Искры“, но я тем не менее охотно остался еще на некоторое время за границей.

В одно из воскресений я отправился с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной в социалистическую лондонскую церковь, где социал-демократический митинг чередовался с пением революционно-благочестивых псалмов. Оратором выступал наборщик, вернувшийся на родину, кажется, из Австралии. Владимир Ильич переводил нам шопотом его речь, которая звучала довольно революционно, по крайней мере, по тому времени. Затем все поднимались и пели: „Всесильный боже, сделай так, чтобы не было ни королей, ни богачей"... или что-то в этом роде. „В английском пролетариате рассеяно множество элементов революционности и социализма, — говорил по этому поводу Владимир Ильич, когда мы вышли из церкви, — но все это сочетается с консерватизмом, религией, предрассудками и никак не может пробиться наружу и обобщиться"... Здесь не безынтересно отметить, что Засулич и Мартов жили совершенно в стороне от английского рабочего движения, целиком поглощенные „Искрой" и тем, что ее окружало. Ленин же совершал время от времени самостоятельные разведки в область английского рабочего движения.

Незачем говорить, что жили Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и ее матерью более, чем скромно. Вернувшись из социал-демократической церкви, мы обедали в маленькой кухне-столовой при квартире из двух комнат. Помню как сейчас поданные на кострюльке ломтики зажаренного мяса. Пили чай. Шутили, как всегда, по поводу того, попаду ли я один к себе домой: я очень плохо разбирался в улицах и, из склонности к систематизации, называл это свое качество „топографическим кретинизмом".

Срок, назначенный для съезда, приближался, и было,

в конце концов, решено перенести искровский центр в Швейцарию, в Женеву: там жизнь обходилась несравненно дешевле, и связь с Россией была легче. Ленин, скрепя сердце, согласился на это. Меня направили в Париж с тем, чтобы оттуда я прибыл вместе с Мартовым в Женеву. Началась усиленная подготовка к съезду.

Через некоторое время в Париж прибыл и Ленин. Он должен был прочитать три лекции по аграрному вопросу в так называемой Высшей Школе, организованной в Париже изгнанными из русских университетов профессорами. На приглашении Ленина настояла марксистская часть студенчества после того, как в Школе выступал Чернов. Профессора беспокоились и просили колючего лектора по возможности не вдаваться в полемику. Но Ленин ничем не связал себя на этот счет и первую свою лекцию начал с того, что марксизм есть теория революционная, следовательно, полемическая по самому своему существу, но что эта его полемичность ни в каком случае не противоречит его научности. Помню, что перед первой лекцией Владимир Ильич очень волновался. Но на трибуне он сразу овладел собою, по крайней мере, внешним образом. Профессор Гамбаров, пришедший его послушать, формулировал Дейчу свое впечатление так: „Настоящий профессор!“. Любезный человек думал таким образом выразить наивысшую похвалу. Будучи насквозь полемическими — против народников и аграрного социал-реформиста Давида, которых Ленин сопоставлял и сближал, — лекции оставались все же в рамках экономической теории, не затрагивая текущей политической борьбы, аграрной программы социал-демократии, социал-революционеров и пр. Такого рода ограничение лектор на себя наложил, считаясь

с академическим характером кафедры. Но по окончании третьей лекции Ленин сделал политический доклад по аграрному вопросу, кажется, на rue Choisy, 110, организованный уже не Высшей Школой, а парижской группой „Искры". Зал был битком набит. Все студенчество Высшей Школы явилось, чтобы послушать практические выводы из теоретических лекций. Речь шла о тогдашней искровской аграрной программе и, в частности, о возвращении земельных отрезков. Не помню, кто возражал. Но помню, что в заключительном слове Владимир Ильич был великолепен. Один из парижских искровцев сказал мне при выходе: „Ленин сегодня превзошел себя". После доклада, как полагается, искровцы отправились с лектором в кафэ. Все были очень довольны, а сам лектор весело возбужден. Казначей группы с удовлетворением сообщал цифру дохода, полученного от доклада кассой „Искры": что-нибудь, вероятно, между 75 и 100 франками, сумма не шуточная! Происходило все это в начале 1903 г. Более точно сейчас время определить не могу, но думаю, что это не трудно сделать, а, может быть, уже и сделано.

В тот же приезд Ленина решено было показать ему оперу. Устроить это было поручено Н. И. Седовой, члену искровской группы. Владимир Ильич шел в театр (Opéra Comique) и из театра с тем же самым портфелем, который сопровождал его на лекции в Высшей Школе. Шла опера Массна (?) „Луиза", очень демократическая по сюжету. Сидели мы группой на галлерее. Кроме Ленина, Седовой и меня, был, кажется, и Мартов. Остальных не помню. С этим посещением оперы связано маленькое, совершенно немузыкальное обстоятельство, которое, однако, крепко запомнилось. Ленин купил себе в Париже ботинки.

Они оказались ему тесны. Он промучился в них несколько часов и решил от них освободиться. Как на грех, и моя обувь настойчиво требовала смены. Я получил эти ботинки, и на первых порах мне на радостях показалось, что они мне в самый раз. Я решил их обновить, отправляясь в оперу. Дорога т у д а прошла благополучно. Но уже в театре я почувствовал, что дело неладно. Может, это и есть причина, почему я не помню, какое впечатление произвела опера на Ленина, да и на меня самого. Помню только, что он был очень расположен, шутил и смеялся. На обратном пути я уже жестоко страдал, а Владимир Ильич безжалостно подшучивал надо мною всю дорогу Под его шутками скрывалось, однако, компетентное сочувствие: он сам, как сказано, промучился в этих ботинках несколько часов.

Я упомянул выше о волнении Владимира Ильича перед парижскими лекциями. На этом следует остановиться. Такого рода волнения при выступлениях были у Ленина и значительно позже тем сильнее, чем менее „своя" была аудитория, чем формальнее был повод для речи. Внешним образом Ленин всегда говорил уверенно, напористо и быстро, так что речи его являлись жестоким испытанием для стенографов. Но когда ему было не по себе, то голос его звучал каким-то не своим, а отраженным и обезличенным звуком, похожим на эхо. Когда же Ленин чувствовал, что э т о й именно аудитории крепко нужно именно то, что он имеет сказать, голос его приобретал чрезвычайную живость и гибкую убедительность, не „ораторскую" в собственном смысле, а разговорную, только доведенную до масштабов трибуны. Это было не ораторское искусство, но нечто бо́льшее, чем ораторство. Можно,

правда, возразить, что всякий оратор лучше говорит в „своей“ аудитории. В такой общей форме это, конечно, верно. Но весь вопрос в том, какую аудиторию и в каких условиях оратор чувствует, как свою. Европейские ораторы типа Вандервельде, воспитанные на парламентских образцах, нуждаются именно в торжественной обстановке и в формальных поводах для пафоса. На юбилейных собраниях и чествованиях они как раз в своей тарелке. А для Ленина каждое такое собрание было маленьким личным несчастьем. Ярче и убедительнее всего он бывал при разборе боевых вопросов политики. Может быть, лучшими образцами его устной речи были его выступления в Центральном Комитете перед Октябрем.

До парижских докладов я слышал Ленина, кажется, только раз в Лондоне, в самом конце декабря 1902 г. Странное дело, у меня не осталось никакого воспоминания ни о характере выступления, ни о теме его. Я почти готов был бы усомниться, точно ли это был его доклад? Но, повидимому, так: большое для Лондона русское собрание, где присутствовал Ленин; если бы не его доклад, вряд ли он явился бы. Провал памяти объясняю так: доклад был, вероятно, посвящен, как это обычно бывало, той же теме, что и печатавшийся очередной номер „Искры“; соответственную статью Ленина я уже успел, следовательно, прочесть и потому в докладе для меня не было ничего нового; прений не было: слабые лондонские противники не решались выступать против Ленина; аудитория, отчасти бундистская, отчасти анархистская, была не очень благодарной,—и в результате всего этого доклад прошел бледно. Помню только, что к концу собрания подходили ко мне Б., муж и жена, из бывшей петер-

бургской группы „Рабочей Мысли“, жившие уже довольно долго в Лондоне, и приглашали: „Приходите к нам под новый год“ (поэтому-то я и помню, что собрание было в конце декабря).—Зачем?—спросил я с варварским недоумением.—„Проведем время в товарищеском кругу. Ульянов будет, Крупская“. Помню, что сказали Ульянов, а не Ленин, и я даже не сразу сообразил, о ком идет речь. Приглашенными оказались и Засулич и Мартов. На другой день в „вертепе“ происходило обсуждение, как быть: справлялись у Ленина, пойдет ли он. Кажется, никто не пошел. А жаль: это был бы единственный в своем роде случай посмотреть Ленина с Засулич и Мартовым в обстановке новогодней вечеринки.

По приезде из Парижа в Женеву я был приглашен к Плеханову с Засулич и с Мартовым; кажется, был и Владимир Ильич. Но об этом вечере у меня—крайне смутное воспоминание. Во всяком случае, он имел не политический, а „светский“, чтобы не сказать, обывательский характер. Помню, что я довольно беспомощно и уныло сидел на стуле и в промежутках между знаками внимания со стороны хозяина или хозяйки убежденно не знал, что с собою делать. Дочери Плеханова разносили чай и печенье. Во всем была какая-то натянутость, и от нее не мне одному, вероятно, было не по себе. Разве что по молодости лет я ощущал холодок острее других. Это посещение было первым и последним. Разумеется, мои впечатления от этого „визита“ были очень беглыми и, весьма возможно, чисто случайными, как беглыми и случайными были все мои встречи с Плехановым. Блестящую фигуру марксистского первоучителя в России я пытался кратко охарактеризовать в другом

месте. Здесь я ограничиваюсь только разрозненными впечатлениями первых встреч, в которых мне—увы!—явно не повезло. Засулич, которую все это очень огорчало, говорила мне: „Жорж, я знаю, бывает несносен, но по существу это ужасно милое животное“ (любимая ее похвала).

Не могу тут же не отметить, что в семье Аксельрода господствовала атмосфера простоты и искреннего товарищеского участия. Я и сейчас с благодарностью вспоминаю о часах, которые я провел за гостеприимным столом Аксельродов во время своих нередких наездов в Цюрих. Бывал там не раз и Владимир Ильич, и, насколько знаю из рассказов самой семьи, чувствовал себя в ее среде тепло и хорошо. Мне с ним у Аксельродов встречаться не приходилось.

Что касается Засулич, то простота ее и душевность в отношении к молодым товарищам были поистине вне сравнения. Если нельзя говорить в прямом смысле слова об ее гостеприимстве, то только потому, что она больше нуждалась в нем, чем могла его оказывать. Она жила, одевалась и питалась, как скромнейшая из студенток. В области материальных ценностей ее высшими радостями были: табак и горчица. Она потребляла и то и другое в огромном количестве. Когда она смазывала тончайший ломтик ветчины толстым слоем горчицы, мы говорили: „Вера Ивановна кутит“..

Очень хорошо и внимательно относился к молодежи четвертый член „Группы Освобождение Труда“ Л. Г. Дейч. Я не упоминал до сих пор, что, в качестве администратора „Искры“, он присутствовал с совещательным голосом на заседаниях редакции. Дейч обыкновенно шел с Плехановым, держась в вопросах революционной тактики более, чем умеренных взгля-

дов. Однажды, к величайшему моему изумлению, он заявил мне: „Никакого вооруженного восстания, юноша, не будет и не нужно его. На каторге у нас были петухи, которые по первому поводу лезли в драку и погибали. Я же занимал такую позицию: держаться твердо, давать администрации понять, что дело может дойти до большой драки, но в драку не лез. Этим путем я добивался и уважения со стороны администрации, и смягчения режима. Подобную же тактику нам нужно применять и к царизму, иначе нас разобьют и уничтожат без всякой пользы для дела“.

Я так был поражен этой тактической проповедью, что рассказывал об ней по очереди и Мартову, и Засулич, и Ленину. Не помню, как реагировал Мартов. Вера Ивановна сказала: „Евгений (старое прозвище Дейча) всегда был таким: лично человек исключительно смелый, а политически—крайне осторожный и умеренный“. Ленин, выслушав, сказал что-то вроде: „М-м... да-а“, и оба мы рассмеялись—без дальнейших комментариев.

В Женеву съезжались первые делегаты будущего 2-го съезда, и с ними шли непрерывные совещания. В этой подготовительной работе Ленину принадлежало бесспорное, хотя и не всегда заметное руководство. Шли заседания редакции „Искры“, заседания организации „Искры“, отдельные совещания с делегатами по группам и общие. Часть делегатов приехала с сомнениями, возражениями или с групповыми претензиями. Подготовительная обработка отнимала много времени.

На съезд прибыло всего трое рабочих. Ленин очень подробно беседовал с каждым из них и завоевал всех троих. Одним из них был Шотман из Петербурга. Он был еще очень молод, но осторожен и

вдумчив. Помню, вернулся он после разговора с Лениным (мы с ним жили на одной квартире) и все повторял: „А как у него глазенки светятся, точно насквозь видят“.

Делегатом из Николаева был Калафати. Владимир Ильич меня подробно расспрашивал о нем (я его знал по Николаеву) и затем, лукаво улыбаясь, прибавил:

— Он говорит, что знал вас чем-то вроде толстовца.

— Ну, вот, чепуха какая-то, — почти что возмутился я.

— Да что ж тут такого?—не то успокаивая, не то дразня возражал Ленин, — вам тогда было, кажется, лет 18, а люди, ведь, не рождаются марксистами.

— Так-то так,—отвечал я,—но уж с толстовством я не имел решительно ничего общего.

Большое место в совещаниях уделялось уставу, при чем одним из крайне важных моментов в организационных схемах и спорах были взаимоотношения Ц.О. и Ц.К. Я приехал за границу с той мыслью, что Ц.О. должен „подчиняться“ Ц.К. Таково было настроение большинства „русских“ искровцев, не очень, впрочем, настойчивое и определенное.

— Не выйдет,—возражал мне Владимир Ильич.— Не то соотношение сил. Ну, как они будут нами из России руководить? Не выйдет.. Мы—устойчивый центр, и мы будем руководить отсюда.

В одном из проектов говорилось, что Ц.О. обязан помещать статьи членов Ц.К.

— Даже и против Ц.О.?—спрашивал Ленин.

— Конечно.

— К чему это? Ни к чему. Полемика двух членов Ц.О. могла бы еще при известных условиях быть по-

лезной, но полемика „русских“ цекистов против Ц.О. недопустима.

— Так это же получится полная диктатура Ц.О?— спрашивал я.

— А что же плохого?—возражал Ленин.—Так оно при нынешнем положении и быть должно.

Много в тот период было возни вокруг так называемого права кооптации. На одном из совещаний мы, молодежь, договорились до положительной и отрицательной кооптации. „Да ведь отрицательная кооптация—это по-русски называется „выгнать“,—смеялся на другое утро в разговоре со мною Владимир Ильич.— Это не так просто. Попробуйте-ка произвести — ха-ха-ха!—отрицательную кооптацию в редакции „Искры“!“

Самый острый для Ленина вопрос состоял в том, как организовать в дальнейшем центральный орган, который должен был играть по существу одновременно и роль центрального комитета. Ленин считал невозможным сохранить старую шестерку. Засулич и Аксельрод во всяком спорном вопросе почти неизменно становились на сторону Плеханова, и тогда в лучшем случае получалось трое против трех. Ни та, ни другая тройка не согласилась бы на удаление кого-либо из коллегии. Оставался противоположный путь. расширение коллегии. Ленин хотел меня ввести седьмым с тем, чтобы затем из семерки, как широкой редакции, выделить более узкую редакционную группу, в составе Ленина, Плеханова и Мартова. В этот план Владимир Ильич вводил меня постепенно, ни словом, впрочем, не упоминая о том, что он предложил именно меня седьмым членом редакции, что это предложение принято всеми, кроме Плеханова, в лице которого весь план натолкнулся на решительное со-

противление. Включение седьмого уже само по себе означало в глазах Плеханова майоризацию группы „Освобождение Труда“: четверо „молодых“ против трех „стариков“!

Думаю, что этот план был важнейшей причиной крайне неблагожелательного отношения ко мне Георгия Валентиновича. А тут, как на грех, присоединились еще небольшие открытые столкновения наши на глазах у делегатов. Началось, кажется, из-за популярной газеты. Некоторые делегаты настаивали на необходимости поставить на-ряду с „Искрой“ популярный орган, по возможности в России. Такова была, в частности, мысль группы „Южного Рабочего“. Ленин был решительным противником этого. Соображения у него были разного порядка, но главную роль играло опасение особой группировки, которая может сложиться на почве „популярного“ упрощения идей социал-демократии, прежде чем окрепло, как следует быть, основное ядро партии. Плеханов выступал решительно за создание популярного органа, противопоставляя себя Ленину и явно ища поддержки у делегатов с мест. Я поддерживал Ленина. На одном из совещаний я развивал ту мысль,—правильную или неправильную, сейчас это все равно,—что нам нужен не популярный орган, а ряд пропагандистских брошюр и листовок, которые помогли бы передовым рабочим подняться до уровня „Искры“; что популярный орган оттеснит „Искру“ и смажет политическую физиономию партии, снизив ее до экономизма и эсеровщины. Плеханов возражал. „Почему же смажет? — говорил он. — Разумеется, в популярном органе мы всего сказать не сможем. Мы будем там выдвигать требования, лозунги, а не заниматься вопросами тактики. Мы ска-

жем рабочему, что нужно бороться с капитализмом, но мы не станем, разумеется, теоретизировать о том, как бороться с капитализмом“. Я ухватился за эту аргументацию: „Но ведь и „экономисты“, и эсеры говорят, что нужно бороться с капитализмом. Расхождение начинается именно с того, как бороться. Если мы в популярном органе на этот вопрос не отвечаем, мы тем самым смазываем различие между нами и эсерами“... Возражение имело очень победоносный вид. Плеханов не нашелся. Ясно, что этот эпизод не улучшил его ко мне отношения. Вскоре произошел второй конфликт, на заседании редакции, которая постановила до решения съездом вопроса о составе редакции привлечь меня на заседание с совещательным голосом. Плеханов категорически против этого возражал. Но Вера Ивановна сказала ему: „А я его приведу“. И действительно „привела“ меня на заседание. Сам я узнал об этой закулисной стороне дела только значительно позже, а на заседание явился ничего не зная, не ведая. Георгий Валентинович поздоровался со мной с изысканной холодностью, на которую был большой мастер. Как на грех, редакции пришлось в этом же заседании разбирать конфликтный вопрос между Дейчем и упомянутым уже выше Блюменфельдом. Дейч был администратором „Искры“. Блюменфельд заведывал типографией. На этой почве возникла борьба компетенций. Блюменфельд жаловался на вмешательство Дейча во внутренние дела типографии. Плеханов, по старой дружбе, поддерживал Дейча и предлагал ограничить Блюменфельда типографской техникой. Я возражал: нельзя заведывать типографией только в области техники, есть еще организаторские и адми-

нистративные задачи, и Блюменфельд должен иметь во всех этих вопросах автономию. Помню ядовитейшее возражение Плеханова: „Хотя т. Троцкий и прав, что на технике вырастают различные надстройки, административные и иные, как учит теория исторического материализма, но...“ и пр. Ленин и Мартов поддержали, однако, осторожно меня и провели соответственное решение. Это переполнило чашу. В обоих этих случаях сочувствие Владимира Ильича было, как мы видели, на моей стороне. Но в то же время он с тревогой следил за тем, как портились мои отношения с Плехановым, что грозило окончательно сорвать намеченный им план реорганизации редакции. На одном из ближайших совещаний со вновь подъехавшими делегатами, Ленин, отведя меня в сторону, говорил мне: „По вопросу о популярном органе пускай уж лучше Плеханову возражает Мартов. Мартов будет смазывать, а вы станете рубить. Пусть уж лучше смазывает“. Эти выражения: рубить и смазывать помню твердо.

После одного из заседаний редакции в кафэ „Ландольт“, возможно, что после того самого заседания, о котором только что шла речь, Засулич особенным, ей в таких случаях свойственным, робко-настойчивым голосом, стала жаловаться, что мы „слишком“ нападаем на либералов. Это было ее самое больное место.

— Вот смотрите, как они стараются, — говорила она, глядя мимо Ленина, но имея в виду прежде всего именно его. — В последнем номере „Освобождения“ Струве ставит нашим либералам в пример Жореса, требует, чтобы русские либералы не порывали с социализмом, ибо иначе им угрожает жалкая судьба немецкого либерализма, а брали бы пример с французских радикалов-социалистов.

Ленин стоял у стола в надвинутой на лоб мягкой соломенной шляпе „под панаму“ (заседание уже кончилось, и он собирался уходить).

— Тем больше их надо бить,—сказал он, весело улыбаясь и как бы дразня Веру Ивановну.

— Вот так так,—воскликнула она с полным отчаянием,—они идут нам навстречу, а мы их бить!

— Вот именно. Струве говорит своим либералам: надо против нашего социализма принимать не грубые немецкие меры, а более тонкие французские, привлекать, задабривать, обманывать, развращать на манер левых французских радикалов, заигрывающих с жоресизмом.

Я, разумеется, передаю эту знаменательную беседу не дословно. Но смысл и дух ее врезались в память в высшей степени отчетливо. У меня под руками нет сейчас материалов для проверки, но проверку сделать нетрудно: нужно просмотреть весенние номера „Освобождения“ за 1903 г. и найти статью Струве, посвященную вопросу об отношении либералов к демократическому социализму вообще и жоресизму в особенности. Об этой статье я помню именно со слов Веры Ивановны в рассказанной только что сцене. Если к числу, обозначенному на соответственном номере „Освобождения“ прибавить срок, нужный для того, чтобы „Освобождению“ добраться до Женевы, попасть в руки Веры Ивановны и быть прочитанным, т.-е. дня три-четыре, то можно довольно точно установить и дату описанного только что спора в кафэ „Ландольт“. Помню, что был весенний (а может быть, уже и ранний летний?) день, солнце весело светило, и весел был картавый смешок Ленина. Помню весь его спокойно-насмешливый, уверенный в себе и „прочный“ вид,—именно прочный, хотя тогда Владимир Ильич был гораздо ху-

дощавее, чем в последний период своей жизни. Вера Ивановна, как всегда, вскидывалась, оборачиваясь то к тому, то к другому. Но никто, кажется, не вмешался в спор, который, впрочем, и длился недолго, во время шапочного разбора.

Возвращались мы с ней вместе. Засулич была удручена, чувствуя, что карта Струве бита. Я не мог доставить ей никакого утешения. Никто из нас, однако, не предчувствовал тогда, в какой мере, в какой превосходной степени бита была карта русского либерализма в этом маленьком диалоге у дверей кафэ „Ландольт".

* * *

Я вижу всю недостаточность сообщаемых мною выше эпизодов: получилось беднее, чем мне рисовалось, когда я приступал к этой работе. Но я собрал тщательно все, что сохранила память, даже и менее значительное, ибо уже сейчас почти некому более подробно рассказать об этом периоде. Умер Плеханов. Умерла Засулич. Умер Мартов. И умер Ленин. Вряд ли кто-либо из них оставил свои мемуары. Разве что Вера Ивановна? Но об этом ничего не слышно. Из состава тогдашней редакции „Искры" остались Аксельрод и Потресов. Но оба они, не говоря уже о всяких других соображениях, в редакционной работе участвовали мало и на собраниях редакции были редкими гостями. Кое-что может рассказать Л. Г. Дейч, но и он прибыл за границу скорее к концу описываемого периода, незадолго до меня, и к тому же в редакционной работе прямого участия не принимал. Неоценимые сведения может дать и, надеемся, даст Надежда Константиновна. Она стояла тогда в центре

всей организационной работы, принимала приезжавших товарищей, наставляла и отпускала отъезжавших, устанавливала связи, давала явки, писала письма, зашифровывала, расшифровывала. В ее комнате почти всегда был слышен запах нагретой бумаги. И она нередко жаловалась, со своей мягкой настойчивостью, на то, что мало пишут, или что перепутали шифр, или написали химическими чернилами так, что строка налезла на строку и пр. Еще важнее, конечно, то, что в этой организационной работе, рука-об-руку с Лениным, Надежда Константиновна могла изо дня в день наблюдать все, что происходило в нем и вокруг него. Но, тем не менее, и эти строки, надеюсь, не окажутся лишними,—в частности и потому, что на заседаниях редакции Н. К., по крайней мере при мне, бывала редко. А главное потому, что иногда свежий глаз со стороны замечает то, чего не видит глаз привычный. Так или иначе, то, что я мог рассказать, рассказано. А теперь я хочу высказать еще несколько общих соображений насчет того, почему, на мой взгляд, должен был за время старой „Искры" произойти решающий перелом в политическом самочувствии Ленина, в его, так сказать, самооценке; почему этот перелом был неизбежен и почему он стал необходим.

Ленин прибыл за границу сложившимся 30-летним человеком. В России, в студенческих кружках, в первых социал-демократических группах, в ссыльных колониях он занимал первое место. Он не мог не чувствовать своей силы уже по одному тому, что ее признавали все, с которыми он встречался, и с которыми он работал. Он уехал за границу уже с большим теоретическим багажем, с серьезным запасом политического опыта и весь насквозь пронизанный той

целеустремленностью, которая составляла его духовную природу. За границей его ждало сотрудничество с „Группой Освобождение Труда" и, прежде всего, с Плехановым, с глубоким и блестящим истолкователем Маркса, с учителем нескольких поколений, с теоретиком, политиком, публицистом, оратором европейского имени и европейских связей. Рядом с Плехановым стояли два крупнейших авторитета: Засулич и Аксельрод. Не только героическое прошлое выдвигало Веру Ивановну в передний ряд. Нет, это был проницательнейший ум с широким, преимущественно историческим образованием и с редкой психологической интуицией. Через Засулич шла, в свое время, связь „Группы" со стариком Энгельсом. В отличие от Плеханова и Засулич, которые были теснее всего связаны с романским социализмом, Аксельрод представлял в „Группе" идеи и опыт германской социал-демократии. Это различие „сфер влияния" выражалось также и в месте их жительства. Плеханов и Засулич жили преимущественно в Женеве, Аксельрод — в Цюрихе. Аксельрод сосредоточился на вопросах тактики. У него, как известно, нет ни одной теоретической или исторической работы. Он и вообще писал мало. Но то, что он писал, почти всегда имело своей темой тактические вопросы социализма. В этой области Аксельрод проявлял и самостоятельность, и проницательность. Из многочисленных разговоров с ним (одно время мы были с ним очень дружны, как и с Засулич) я ясно себе представляю, что многое из написанного Плехановым по вопросам тактики было плодом коллективной работы, и что в этой работе доля Аксельрода была гораздо более значительна, чем может показаться только по

печатным документам. Сам Аксельрод не раз говорил Плеханову, несомненному и любимому вождю „Группы" (до разрыва в 1903 г.): „У тебя, Жорж, длинный хобот, ты везде достаешь, что тебе нужно"... Аксельрод, как известно, написал предисловие к присланной из России рукописи Ленина „Задачи русских социал-демократов". Этим актом „Группа" как бы усыновляла молодого даровитого русского работника, но в то же время этим самым как бы свидетельствовала, что дело идет об ученике. Именно в таком звании Ленин прибыл за границу вместе с двумя другими учениками. Я не присутствовал при первых встречах учеников с учителями, при тех беседах, где вырабатывалась основная линия „Искры". Нетрудно, однако, понять, в свете наблюдений описанного полугодия и особенно в свете второго съезда партии, что самая острота конфликта, помимо своей только-только намечавшейся принципиальной стороны, имела причиной неправильность глазомера стариков в оценке роста и значения Ленина.

В течение второго съезда и сейчас же после него негодование Аксельрода и других членов редакции против поведения Ленина сочеталось с недоумением: „Как мог он на это решиться?" Недоумение еще более возросло, когда, после разрыва Плеханова с Лениным, что произошло уже вскоре после съезда, Ленин продолжал тем не менее борьбу. Настроение Аксельрода и других, может быть, можно было бы вернее всего выразить словами: какая его муха укусила? „Ведь не так давно он приехал за границу,— рассуждали старшие,—приехал учеником и держал себя, как ученик (на этом особенно настаивал Аксельрод в своих рассказах о первых месяцах „Искры"). Откуда вдруг эта самоуверенность? Как мог он ре-

шиться? и пр. Затем догадка: он подготовил себе почву в России, недаром все связи были в руках Надежды Константиновны; там-то и шла втихомолку обработка русских товарищей против „Группы Освобождение Труда“. Не менее других негодовала, но может быть несколько более других понимала Засулич. Недаром она говорила Ленину еще задолго до раскола, что у него, в отличие от Плеханова, „мертвая хватка“. И кто знает, какое впечатление произвели в свое время эти слова? Не повторил ли себе Ленин: „Да, это верно: кому же, как не Засулич, знать Плеханова? Он потреплет, потреплет и бросит, а задача совсем не такова, чтобы трепать и бросать... Тут нужна мертвая хватка“. В какой мере и в каком смысле верны слова о предварительной „обработке“ русских товарищей, об этом, конечно, лучше, чем кто бы то ни было, может рассказать Надежда Константиновна. Но в более широком смысле можно и без фактических справок сказать, что такая подготовка совершалась. Ленин всегда готовил завтрашний день, утверждая и укрепляя сегодняшний. Его творческая мысль никогда не застывала, а бдительность не успокаивалась. И когда он убедился, что „Группа Освобождение Труда“ неспособна взять в свои руки непосредственное руководство боевой организацией пролетарского авангарда в обстановке близящейся революции, он сделал отсюда для себя все практические выводы. Старики ошиблись, и не одни только старики: это был уже не просто молодой, выдающийся работник, которого Аксельрод отметил дружественно-покровительственным предисловием, это был вождь, насквозь целеустремленный и, думается, окончательно почувствовавший себя вождем, когда он в работе стал

бок-о-бок со старшими, с учителями, и убедился, что он сильнее и нужнее их. Правда, и в России Ленин, по выражению Мартова, был первым среди равных. Но там дело шло все же лишь о первых социал-демократических кружках, о молодых организациях. Русские репутации носили еще на себе печать провинциализма: сколько тогда значилось русских Лассалей и русских Бебелей! Другое дело группа „Освобождение Труда“: Плеханов, Аксельрод и Засулич стояли в том же ряду, что Каутский, Лафарг, Гэд и Бебель, подлинный немецкий Бебель! Измерив в работе свои силы рядом с ними, Ленин измерил себя большой европейской меркой. Именно в столкновениях с Плехановым, когда редакция группировалась по двум осям, Ленин должен был получить тот закал уверенности, без которого он в дальнейшем не был бы Лениным.

А столкновения со стариками были неизбежны. Не потому, что налицо были заранее две различные концепции революционного движения. Нет, в тот период этого еще не было. Но самый угол подхода к политическим событиям, организационным и вообще практическим задачам, следовательно, и ко всей надвигавшейся революции, был глубоко различен. Старики успели к этому времени провести в эмиграции уже 20 лет. Для них „Искра“ и „Заря“ были, прежде всего, литературным предприятием. Для Ленина же—непосредственным инструментом революционного действия. В Плеханове, как это обнаружилось несколькими годами позже (1905—1906 г.г.) и еще более трагически — в эпоху империалистской войны, глубоко сидел революционный скептик: он сверху вниз глядел на ленинскую целеустремленность, имея на этот счет в запасе не одну снисходительно-ядовитую шутку.

Аксельрод, как уже сказано, ближе стоял к проблемам тактики, но мысль его упорно не хотела выходить из круга вопросов подготовки к подготовке. Аксельрод нередко с величайшим искусством анализировал тенденции и оттенки внутри разных социалистических группировок революционной интеллигенции. Он был гомеопатом дореволюционной политики. Его методы и приемы носили аптечный, лабораторный характер. Величины, которыми он оперирует, всегда очень малы: это кружки, ему приходится класть на весы мельчайшие гирьки. Недаром Л. Г. Лейч относил Аксельрода к типу Спинозы, и недаром Спиноза был гранильщиком алмазов: эта работа, как известно, требует увеличительного стекла. А Ленин брал события и отношения оптом, учился мыслью охватывать социальные глыбы и этим отражал надвигавшуюся революцию которая и Плеханова и Аксельрода застигла врасплох. Непосредственнее всего из стариков приближение революции чувствовала, пожалуй, Вера Ивановна Засулич. Ее живое, чуждое педантства, насыщенное интуицией историческое образование помогло ей в этом. Но она чувствовала революцию, как старая радикалка. Она была до глубины души убеждена в том, что все элементы революции у нас уже налицо, за вычетом „настоящего", уверенного в себе либерализма, который должен взять в руки руководство, и что мы, марксисты, своей преждевременной критикой и „травлей" только запугиваем либералов и этим самым играем, в сущности, контр-революционную роль. В печати Вера Ивановна этого, правда, не говорила. И в личных беседах не всегда договаривала до конца. Но это тем не менее было ее задушевным убеждением. И отсюда вытекал ее антагонизм с Павлом

(Аксельродом), которого она считала доктринером. Действительно, в пределах тактической гомеопатии Аксельрод неизменно отстаивал революционную гегемонию социал-демократии. Он только отказывался перевести эту точку зрения с языка групп и кружков на язык классов, когда классы пришли в движение. Тут то и открывалась пропасть между ним и Лениным.

Ленин приехал за-границу не как марксист „вообще“, не для литературно-революционной работы „вообще“, не просто для продолжения 20-тилетней работы группы „Освобождение Труда“. Нет, он приехал, как потенциальный вождь, и не вождь „вообще“, а вождь той революции, которая нарастала, которую он чувствовал и осязал. Он приехал, чтобы в кратчайший срок создать для этой революции идейную оснастку и организационный аппарат. И не в том смысле я говорю об его неистовой и дисциплинированной в то же время целеустремленности, что он, Ленин, стремился содействовать торжеству „конечной цели“, — нет, это слишком обще и пусто, — а в том конкретном, прямом, непосредственном смысле, что он поставил себе практической целью: ускорить пришествие революции и обеспечить ее победу. Когда Ленин в своей заграничной работе оказался плечом к плечу с Плехановым, когда исчезло то, что немцы называют пафосом дистанции, — для „ученика“ не могло не стать физически ясным, что в том вопросе, который он считал для данного времени основным, ему не только почти нечему учиться у учителя, но что выжидательно-скептический учитель способен, благодаря своему авторитету, затормозить спасительную работу и оторвать от него, от Ленина, более молодых сотрудников. Отсюда зоркая забота Ленина о составе редакции,

отсюда комбинации семерки и тройки, отсюда стремление отделить Плеханова от „Группы Освобождение Труда", создать руководящую тройку, в которой Ленин всегда имел бы Плеханова в вопросах революционной теории и Мартова—в вопросах революционной политики. Личные комбинации менялись; но „антиципация" оставалась в основном неизменной и, в конце концов, стала костью, плотью и кровью.

На 2-м съезде Ленин завоевал Плеханова, по ненадежно; одновременно он потерял Мартова и—потерял навсегда. Плеханов, повидимому, что-то почувствовал на 2-м съезде; по крайней мере, он сказал тогда Аксельроду, в ответ на его горькие и недоуменные упреки по поводу Плехановского союза с Лениным: „Из такого теста делаются Робеспьеры". Я не знаю, приводилась ли когда-либо эта замечательная фраза в печати, и известна ли она вообще в партии; но за точность ее я ручаюсь. „Из такого теста делаются Робеспьеры!"—И даже нечто гораздо большее, Георгий Валентинович!—ответила история. Но, очевидно, это историческое откровение очень скоро поблекло в сознании самого Плеханова. Он порвал с Лениным и вернулся к скептицизму и к едким шуткам, впрочем, утрачивавшим от времени свою едкость.

Но в „раскольнической" антиципации дело шло не об одном Плеханове и не об одних стариках. Вторым съездом вообще завершалась некоторая первоначальная стадия подготовительного периода. То обстоятельство, что „искровская" организация совершенно неожиданно раскололась на съезде почти пополам, само по себе свидетельствует о том, что в этой первоначальной стадии было еще много недоговоренности. Классовая партия только-только пробивала скорлупу интеллигент-

ского радикальства. Приток интеллигенции к марксизму еще не прекратился. Студенческое движение левым своим флангом примыкало к „Искре". В среде интеллигентской молодежи, особенно за границей, группы содействия „Искре" были очень многочисленны. Все это было молодо-зелено и в большинстве неустойчиво. Студентки-искровки задавали референту вопрос: „Можно ли искровке выйти замуж за морского офицера?" На втором съезде участвовало только трое рабочих, да и те были привлечены не без труда. „Искра", с одной стороны, собирала и воспитывала кадр профессиональных революционеров и привлекала под свое знамя молодых героически настроенных рабочих. С другой стороны, значительные группы интеллигенции лишь проходили через „Искру", чтобы вскоре затем вылинять в „освобожденцев". „Искра" имела успех не только как марксистский орган строющейся пролетарской партии, но и просто как боевая политическая, крайняя левая публицистика, которая не лезет за словом в карман. Более радикальные элементы интеллигенции соглашались сгоряча бороться за свободу под знаменем „Искры". Наряду с этим постепеновски-педагогическое недоверие к силам пролетариата, которое раньше находило свое выражение в экономизме, теперь успело, и притом довольно искренне, перекраситься под „Искру", не меняя своего существа. В конце концов, блестящая победа „Искры" была гораздо шире, чем ее реальные завоевания. В какой мере ясно и полно Ленин отдавал себе в этом отчет еще до второго съезда, я сейчас судить не берусь, но во всяком случае яснее и полнее, чем кто бы то ни было. В тех довольно пестрых настроениях, которые группировались под знаменем „Искры", находя

свое преломление и в самой редакции, Ленин один представлял завтрашний день со всеми его суровыми задачами, жестокими столкновениями и неисчислимыми жертвами. Отсюда его настороженность и боевая подозрительность. Отсюда отчетливая постановка организационных вопросов, нашедшая свое символическое выражение в вопросе о членстве партии („§ 1 Устава“). Вполне естественно, если на втором съезде, который собирался пожать плоды идейных побед „Искры“, именно Ленин начал работу нового расслоения, нового, более требовательного, более сурового отбора. Чтобы решиться на такой шаг, имея против себя половину съезда, имея Плеханова ненадежным полусоюзником и всех остальных членов редакции открытыми и решительными противниками; чтобы решиться в таких условиях на новый отбор, нужно было иметь уже совершенно исключительную веру не только в свое дело, но и в свои силы. Эту веру дала Ленину та опытом проверенная самооценка, которая выросла из совместной работы с „учителями“ и из первых конфликтных зарниц, предвещавших будущие громы и молнии раскола. Нужна была вся могущественная целеустремленность Ленина, чтобы начать такое дело и довести его до конца. Ленин неутомимо натягивал тетиву до предела, до отказа, и в то же время осторожно пробовал пальцем: не слабеет ли где, не грозит ли рассучиться?—Нельзя так натягивать, лопнет лук!—кричали с разных сторон.—Не лопнет,—отвечал мастер.—Лук наш из неломкого пролетарского материала, а партийную тетиву нужно натянуть еще и еще ибо придется далеко посылать тяжелую стрелу!

5 марта 1924 г.

ВОКРУГ ОКТЯБРЯ

I. ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ.

О том, что Ленин прибыл в Петербург и выступал на рабочих собраниях против войны и временного правительства, я узнал из американских газет в Амхерсте, в канадском концентрационном лагере. Интернированные немецкие матросы сразу заинтересовались Лениным, имя которого они впервые встретили в газетных телеграммах. Все это были люди, жадно ждавшие конца войны, который должен был открыть для них ворота концентрационной тюрьмы. Они с величайшим вниманием относились к каждому голосу против войны. До сих пор они знали Либкнехта. Но им часто говорили, что Либкнехт подкуплен. Теперь они узнали Ленина. Я рассказывал им о Циммервальде и Кинтале. Выступления Ленина привели многих из них к Либкнехту.

В Финляндии проездом я нашел первые свежие русские газеты и в них телеграммы о вступлении Церетели, Скобелева и других „социалистов" в состав временного правительства. Обстановка была таким образом совершенно ясна. С апрельскими тезисами Ленина я познакомился на второй или третий день по приезде в Петербург. Это было именно то, что нужно было революции. Только позже я прочитал в „Правде" статью Ленина, присланную еще из

Швейцарии: „Первый этап первой революции". И сейчас еще можно и должно с величайшим интересом и с политической пользой прочитать первые, весьма расплывчатые номера по-революционной „Правды", на фоне которых ленинское „Письмо издалека" выступает во всей своей сосредоточенной силе. Очень спокойная, теоретико-разъяснительная по тону статья эта похожа на свернутую в тугое кольцо огромную стальную спираль, которой в дальнейшем предстояло развертываться и расширяться, идейно покрывая собою все содержание революции.

С т. Каменевым я условился о посещении редакции „Правды" в один из ближайших по приезде дней. Первое свидание состоялось, должно быть, 5—6 мая. Я сказал Ленину, что меня ничто не отделяет от его апрельских тезисов и от всего курса, взятого партией после его приезда, и что предо мной стоит альтернатива: либо сейчас же „индивидуально" вступить в партийную организацию, либо попытаться привести лучшую часть объединенцев, в организации которых числилось до 3 тысяч рабочих в Петербурге, и с которыми связано было много ценных революционных сил: Урицкий, Луначарский, Иоффе, Владимиров, Мануильский, Карахан, Юренев, Позерн, Литкенс и др. Антонов-Овсеенко уже вступил к тому времени в партию; кажется, и Сокольников. Ленин категорически не высказывался ни в ту, ни в другую сторону. Прежде всего нужно было конкретнее ориентироваться в обстановке и в людях. Ленин считал не исключенной ту или другую кооперацию с Мартовым, вообще с частью меньшевиков-интернационалистов, только что прибывших из-за границы. На-ряду с этим нужно было посмотреть, как сложатся взаимоотноше-

ния внутри „интернационалистов“ на работе. В силу молчаливого соглашения я, с своей стороны, не форсировал естественного развития событий. Политика была общая. На рабочих и солдатских собраниях я с первого дня приезда говорил: „Мы, большевики и интернационалисты“, а так как союз „и“ только затруднял речь при частом произнесении этих слов, то я вскоре сократил формулу и стал говорить: „Мы, большевики-интернационалисты“. Таким образом политическое слияние предшествовало организационному *).

В редакцию „Правды“ я заходил до июльских дней раза два—три, в наиболее критические моменты. В те первые свидания, а еще более—после июльских дней, Ленин производил впечатление высшей сосредоточенности, страшной внутренней собранности — под покровом спокойствия и „прозаической“ простоты. Керенщина казалась в те дни всемогущей. Большевизм представлялся „ничтожной кучкой“. Партия сама еще не сознавала своей завтрашней силы. И в то же время Ленин уверенно вел ее к величайшим задачам...

Его выступления на первом Съезде Советов вызвали у эсеро-меньшевистского большинства тревожное недоумение. Они смутно чувствовали, что этот человек взял прицел по какой-то очень далекой точке. Но самой точки они не видели. И революционные мещане спрашивали себя: кто это? что это? простой маниак? или какой-то исторический снаряд небывалой разрывной силы?

Выступление Ленина на Съезде Советов, когда он говорил о необходимости арестовать 50 капиталистов,

*) Н. Н. Суханов в своей истории революции строит особую мою линию в отличие от линии Ленина. Но Суханов заведомый „конструктивист“.

не было, пожалуй, ораторски „удачным". Но оно было исключительно значительным. Короткие аплодисменты немногочисленных сравнительно большевиков провожали оратора, уходившего с видом человека, который не все сказал и, может быть, не совсем так сказал, как хотел бы... И в то же время над залом пронеслось необычное дуновение. Это было дуновение будущего, которое на момент почувствовали все, провожая растерянными взорами этого человека, такого обыкновенного и такого загадочного.

Кто он? что он? Разве Плеханов не назвал в своей газете первую ленинскую речь на революционной почве Петербурга бредом? Разве делегаты, выбиравшиеся массами, не примыкали сплошь к эсерам и меньшевикам? Разве в среде самих большевиков позиция Ленина не вызвала на первых порах острое недовольство?

С одной стороны Ленин требовал категорического разрыва не только с буржуазным либерализмом, но и со всеми видами оборончества. Он организовал борьбу внутри собственной партии против тех „старых большевиков, которые,—как писал Ленин,—не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно заученную формулу, вместо изучения своеобразия новой, живой действительности" („Собрание сочинений", т. XIV, ч. I, стр. 28). Таким образом он на поверхностный взгляд ослаблял собственную партию. А в то же время он заявил на Съезде Советов: „Не правда, будто ни одна партия не согласна ныне взять власть; такая партия есть: это наша партия". Разве не чудовищное противоречие между положением „кружка пропагандистов", который отмежевывается от всех остальных, и между этой от-

крытой претензией на взятие власти в гигантской стране, потрясенной до дна? И Съезд Советов глубочайшим образом не понимал, чего хочет и на что надеется этот странный человек, этот холодный фантаст, пишущий маленькие статьи в маленькой газете. И когда Ленин с великолепной простотой, которая показалась простоватостью подлинным простецам, заявил на Съезде Советов: „Наша партия готова взять власть целиком",—раздался смех. „Вы можете смеяться, сколько угодно",—сказал Ленин. Он знал: „хорошо посмеется тот, кто смеется последним". Ленин любил эту французскую пословицу, ибо твердо готовился смеяться последним. И он спокойно продолжал доказывать, что нужно для начала арестовать 50 или 100 крупнейших миллионеров и объявить народу, что мы считаем всех капиталистов разбойниками, и что Терещенко ничуть не лучше Милюкова, только поглупее. Ужасно, поразительно, убийственно простецкие мысли! И этот представитель маленькой части Съезда, которая время от времени сдержанно аплодирует ему, говорит Съезду: „Вы боитесь власти? А мы готовы ее взять". В ответ, разумеется,—смех, в тот момент почти снисходительный, только чуть-чуть тревожный.

И для второй своей речи Ленин выбирает ужасно простые слова из письма какого-то крестьянина, о том, что нужно больше напирать на буржуазию, чтобы она лопалась по всем швам, тогда война кончится, но если не так сильно будем напирать на буржуазию, то скверно будет. И эта простая, наивная цитата— вся программа? Как же не недоумевать? Опять смешок, снисходительный и тревожный. И действительно, в качестве отвлеченно взятой программы группы пропагандистов эти слова: „напирать на буржуазию", не

так уж много весят. Недоумевающие не понимали, однако, того, что Ленин безошибочно подслушал нарастающий напор истории на буржуазию, и что в результате этого напора ей неизбежно придется „лопаться по всем швам". Недаром же Ленин разъяснял в мае гражданину Маклакову, что „страна рабочих и беднейших крестьян в тысячу раз левее Черновых и Церетели" и „раз в сто левее нас". Тут-то и есть главный источник ленинской тактики. Сквозь свежую, но уже достаточно мутную демократическую пленку, он глубоко прощупал „страну рабочих и беднейших крестьян". Она оказалась готовой совершить величайшую революцию. Но эту свою готовность она пока еще не умеет политически проявить. Те партии, которые говорят от имени рабочих и крестьян, обманывают их. Нашей партии миллионы рабочих и крестьян еще не знают, не нашли ее еще, как выразительницу своих стремлений, и в то же время сама наша партия еще не поняла всей своей потенциальной силы, и потому она „в сто раз" правее рабочих и крестьян. Надо пригнать одно к одному. Надо открыть миллионные массы партии и партию миллионным массам. Не забегать чересчур вперед, но и не отставать. Терпеливо и настойчиво разъяснять. Разъяснять же нужно очень простые вещи. „Долой 10 министров-капиталистов!" Меньшевики не согласны? Долой меньшевиков! Они смеются? До поры до времени... Хорошо посмеется тот, кто будет смеяться последним.

Помнится, мною было выдвинуто предложение потребовать на Съезде Советов постановки в первую очередь вопроса о готовящемся наступлении на фронте. Ленин одобрил эту мысль, но хотел, очевидно, еще обсудить ее с другими членами Ц.К.

К первому заседанию съезда т. Каменев принес наспех набросанный Лениным проект заявления большевиков по поводу наступления. Не знаю, сохранился ли этот документ. Текст его показался, не помню уж, по каким причинам, неподходящим для съезда как присутствовавшим тут большевикам, так и интернационалистам. Возражал против текста и Позерн, которому мы хотели поручить выступление. Я набросал другой текст, который и был оглашен. Организация выступления была, если не ошибаюсь, в руках Свердлова, с которым я впервые встретился именно во время первого Съезда Советов, как с председателем большевистской фракции.

Несмотря на небольшой рост и худощавость, вызывавшую представление о болезненности, от фигуры Свердлова исходило впечатление значительности и спокойной силы. Он председательствовал ровно, без шума и перебоев, как работает хороший мотор. Секрет тут был, конечно, не в самом искусстве председательствования, а в том, что он превосходно представлял себе личный состав собрания и хорошо знал, чего хочет достигнуть. Каждому заседанию предшествовали встречи его с отдельными делегатами, расспросы, иногда увещания. Уже до открытия заседания он в общем и целом представлял себе, какими путями оно развернется. Но и без предварительных переговоров он лучше, чем кто бы то ни было, знал, как именно тот или другой работник отнесется к поднятому вопросу. Число товарищей, политический облик которых он себе ясно представлял, было по масштабам тогдашней нашей партии очень велико. Это был прирожденный организатор и комбинатор. Каждый политический вопрос представал перед ним

прежде всего в своей организационной конкретности, как вопрос взаимоотношений отдельных лиц и группировок внутри партийной организации, и взаимоотношения между организацией в целом и массами. В алгебраические формулы он немедленно и почти автоматически подставлял числовые значения. Этим самым он давал важнейшую проверку политических формул, поскольку дело шло о революционном действии.

После отмены демонстрации 10 июня, когда атмосфера первого Съезда Советов накалилась до чрезвычайности, и Церетели грозил разоружить петербургских рабочих, я с т. Каменевым отправился в редакцию и там, после короткого обмена мнений, я написал, по предложению Ленина, проект обращения от Ц.К. к Исполнительному Комитету.

На этом свидании Ленин сказал несколько слов о Церетели, по поводу последней его речи (11 июня): „Был ведь революционером, сколько лет на каторге, а теперь полный отказ от прошлого". В этих словах не было ничего политического, они и сказаны были не для политики, а явились плодом мимолетного раздумья над жалкой судьбой бывшего крупного революционера. В тоне был оттенок сожаления, обиды, но выраженный кратко и сухо, ибо ничто так не претило Ленину, как малейший намек на сентиментальность и психологическое рассусоливание.

4 или 5 июля я виделся с Лениным (и с Зиновьевым?), кажется, в Таврическом дворце. Наступление было отбито. Злоба против большевиков достигла у правящих последнего предела. „Теперь они нас перестреляют, — говорил Ленин. — Самый для них подходящий момент". Основной мыслью его было:

дать отбой и уйти, поскольку окажется необходимым, в подполье. Это был один из крутых поворотов ленинской стратегии, основанный, как всегда, на быстрой оценке обстановки. Позже, в эпоху III Конгресса Коминтерна, Владимир Ильич говорил как-то: „В июле мы наделали не мало глупостей“. Он имел при этом в виду преждевременность военного выступления, слишком агрессивные формы демонстрации, не отвечавшие нашим силам в масштабе страны. Тем более знаменательна та трезвая решительность, с какою он 4—5 июля продумал обстановку не только за революцию, но и за противную сторону, и пришел к выводу, что для „них“ теперь в самый раз нас расстрелять. К счастью, нашим врагам не хватало еще ни такой последовательности, ни такой решимости. Они ограничились переверзевской химической подготовкой. Хотя весьма вероятно, что, если бы им удалось в первые дни после июльского выступления захватить Ленина, они, т.-е. их офицерство, поступили бы с ним так же, как, менее чем через два года, немецкое офицерство поступило с Либкнехтом и Розой Люксембург.

Прямого решения скрыться или уйти в подполье на только что упомянутом свидании принято не было. Корниловщина раскачивалась постепенно. Я лично еще в течение двух-трех дней оставался на виду. Выступал на нескольких партийных и организационных совещаниях на тему: что делать? Бешеный напор на большевиков казался непреодолимым. Меньшевики пытались всеми мерами использовать обстановку, созданную не без их участия. Мне пришлось говорить, помнится, в библиотеке Таврического дворца, на каком-то собрании представителей профессиональных союзов. При-

сутствовало всего несколько десятков человек, т.-е. самая верхушка. Меньшевики господствовали. Я доказывал необходимость профсоюзам протестовать против обвинения большевиков в связи с германскими милитаризмом. Смутно представляю себе ход этого собрания, но довольно отчетливо вспоминаю две-три злорадные физиономии, поистине плюхопросящие... Террор тем временем крепчал. Шли аресты. Несколько дней я провел, укрываясь на квартире т. Ларина. Затем стал выходить, появился в Таврическом дворце и вскоре был арестован. Освобожден я был уже в дни корниловщины и начинавшегося большевистского прибоя. За это время успело совершиться вступление объединенцев в большевистскую партию. Свердлов предложил мне повидаться с Лениным, который еще скрывался. Не помню, кто меня водил на конспиративную рабочую квартиру (не Рахиа ли?), где я встретился с Владимиром Ильичем. Там же был и Калинин, которого В. И. при мне продолжал допрашивать о настроении рабочих, будут ли драться, пойдут ли до конца, можно ли брать власть, и пр.

Каково было в это время настроение Ленина? Если охарактеризовать его в двух словах, то придется сказать, что это было настроение сдержанного нетерпения и глубокой тревоги. Он видел ясно, что подходит момент, когда нужно будет все поставить ребром, и в то же время ему казалось, и не без основания, что на верхах партии не делаются отсюда все необходимые выводы. Поведение Центрального Комитета казалось ему слишком пассивным и выжидательным. Ленин не считал возможным открыто вернуться к работе, справедливо опасаясь, что арест его закрепил бы и даже усилил бы выжидательное настроение верхов партии.

а это неминуемо повело бы к упущению исключительной революционной ситуации. Поэтому настороженность Ленина, его придирчивость ко всяким проявлениям кунктаторства, ко всяким намекам на выжидательность и нерешительность возросли в эти дни и недели до чрезвычайной степени. Он требовал немедленного приступа к правильному заговору: застигнуть противника врасплох и вырвать власть, а там видно будет. Об этом нужно, однако, сказать подробнее.

Биографу придется внимательнейшим образом учесть самый факт возвращения Ленина в Россию, соприкосновение его с народными массами. С небольшим перерывом в 1905 году Ленин более полутора десятка лет провел в эмиграции. Его чувство действительности, ощущение живого трудящегося человека не только не ослабело за это время, но, наоборот, укрепилось работою теоретической мысли и творческого воображения. По отдельным случайным свиданиям и наблюдениям он ловил и воссоздавал образ целого. Но все же он прожил эмигрантом тот период своей жизни, в течение которого он окончательно созрел для своей будущей исторической роли. В Петербург он приехал с готовыми революционными обобщениями, которые резюмировали весь общественно-теоретический и практический опыт его жизни. Лозунг социалистической революции он провозгласил, едва ступив на русскую почву. Но тут только началась, на живом опыте пробужденных трудящихся масс России, проверка накопленного, передуманного, закрепленного. Формулы выдержали проверку. Более того, только здесь, в России, в Петербурге, они наполнились повседневной неопровержимой конкретностью и, тем самым, непреодолимой силой. Теперь уже не приходи-

лось по отдельным, более или менее случайным, образцам воссоздавать перспективную картину целого. Само целое заявляло о себе всеми голосами революции. И тут Ленин показал, а может быть и сам только почувствовал полностью впервые, — в какой мере он умеет услышать хаотический еще голос пробуждающейся массы. С каким глубоким органическим презрением наблюдал он мышиную возню руководящих партий февральской революции, эти волны „могущественного“ общественного мнения, которые рикошетом шли от одной газеты к другой, близорукость, самовлюбленность, болтливость — словом, официальную февральскую Россию. Под этой уставленной демократическими декорациями сценой он слышал рокот событий иного масштаба. Когда скептики указывали ему на великие затруднения, на мобилизацию буржуазного общественного мнения, на мелко-буржуазную стихию, — он стискивал челюсти, скулы его угловатее выступали из-под щек. Это значило, что он сдерживается, чтоб не сказать скептикам ясно и точно, что он об них думает. Он видел и понимал препятствия никак не хуже других, но он ясно, осязательно, физически ощущал те скопленные историей гигантские силы, которые теперь рвались наружу, чтобы опрокинуть все препятствия. Он видел, слышал и ощущал прежде всего российского рабочего, возросшего численно, еще не забывшего опыт 1905 г., прошедшего через школу войны, через ее иллюзии, через фальшь и ложь оборончества и готового теперь на величайшие жертвы и невиданные усилия. Он чувствовал солдата, оглушенного тремя годами дьявольской бойни — без смысла и без цели, — пробужденного грохотом революции и собиравшегося за все бессмысленные

жертвы, унижения и заушения расплатиться взрывом бешеной, ничего не щадящей ненависти. Он слышал мужика, который все еще тащил на себе путы столетий крепостничества и который теперь, благодаря встряске войны, впервые почувствовал возможность расплатиться с угнетателями, рабовладельцами, господами, барами страшным, беспощадным платежом. Мужик еще беспомощно топтался, колеблясь между черновской болтологией и своим „средствием“ великого аграрного мятежа. Солдат еще переминался с ноги на ногу, ища путей между патриотизмом и оголтелым дезертирством. Рабочие еще дослушивали, но уже недоверчиво и полувраждебно, последние тирады Церетели. Уже нетерпеливо клокотали пары в котлах кронштадтских военных кораблей. Соединявший в себе отточенную, как сталь, ненависть рабочего с глухим медвежьим гневом мужика, матрос, обожженный огнем страшной бойни, уже сбрасывал за борт тех, кто воплощал для него все виды сословного, бюрократического и военного угнетения. Февральская революция шла под откос. Лохмотья царской легальности подбирались коалиционными спасителями, растягивались, сшивались и превращались в тонкую пленку легальности демократической. Но под нею все клокотало и бурлило, все обиды прошлого искали выхода, ненависть к стражнику, квартальному, исправнику, табельщику, городовому, фабриканту, ростовщику, помещику, к паразиту, белоручке, ругателю и заушителю—готовила величайшее в истории революционное извержение. Вот, что слышал и видел Ленин, вот что он физически чувствовал, с неотразимой ясностью, с абсолютной убедительностью, прикоснувшись после долгого отсутствия к охваченной спазмами революции

стране. „Вы, дурачки, хвастунишки и тупицы, думаете, что история делается в салонах, где выскочки-демократы амикошонствуют с титулованными либералами, где вчерашние замухрышки из провинциальных адвокатов учатся наскоро прикладываться к сиятельнейшим ручкам? Дурачки! Хвастунишки! Тупицы! История делается в окопах, где охваченный кошмаром военного похмелья солдат всаживает штык в живот офицеру и затем на буфере бежит в родную деревню, чтобы там поднести красного петуха к помещичьей кровле. Вам не по душе это варварство? Не прогневайтесь, — отвечает вам история: чем богата,—тем и рада. Это только выводы из всего, что предшествовало. Вы воображаете всерьез, что история делается в ваших контактных комиссиях? Вздор, лепет, фантасмагория, кретинизм. История—да будет ведомо!—выбрала на этот раз своей подготовительной лабораторией дворец Кшесинской, балерины, бывшей любовницы бывшего царя. И отсюда, из этого символического для старой России здания, она подготовляет ликвидацию всей нашей петербургско-царской, бюрократически-дворянской, помещичье-буржуазной гнили и похабщины. Сюда, во дворец бывшей императорской балерины, стекаются закоптелые делегаты фабрик, серые, корявые и вшивые ходоки окопов, и отсюда они развозят по стране новые вещие слова“.

Горе-министры революции судили и рядили, как бы вернуть дворец его законной владелице. Буржуазные, эсеровские, меньшевистские газеты скалили свои гнилые зубы по поводу того, что Ленин с балкона Кшесинской бросал лозунги социального переворота. Но эти запоздалые потуги не способны были ни повысить ненависть Ленина к старой России, ни уси-

лить его волю к расправе над ней: и та, и другая уже достигли предела. На балконе Кшесинской Ленин стоял таким же, каким он месяцами двумя позже скрывался в стогу сена и каким несколько недель спустя занял пост председателя Совнаркома.

Ленин видел вместе с тем, что внутри самой партии имеется консервативное сопротивление—на первых порах не столько политическое, сколько психологическое—тому великому прыжку, который предстояло совершить. Ленин с тревогой наблюдал возрастающее несоответствие в настроениях части партийных верхов и миллионов рабочих масс. Он ни на минуту не удовлетворялся тем, что Центральный Комитет принял формулу вооруженного восстания. Он знал трудности перехода от слов к делу. Всеми силами и средствами, какие были в его руках, он стремился поставить партию под напор масс и Центральный Комитет партии—под напор ее низов. Он вызывал в свое убежище отдельных товарищей, собирал справки, проверял, устраивал перекрестные допросы, пускал обходными путями и наперерез свои лозунги в партию, вниз, вглубь, чтоб поставить верхи перед необходимостью действовать и дойти до конца. Чтобы отдать себе правильный отчет в поведении Ленина в этот период, нужно установить одно: он несокрушимо верил в то, что масса хочет и может совершить революцию, но у него не было этой уверенности относительно партийного штаба. А в то же время он яснее ясного понимал, что времени терять нельзя. Революционную ситуацию нельзя по произволу консервировать до того момента, когда партия подготовится, чтобы ее использовать. Мы это недавно видели на опыте Германии. Приходилось, даже недавно, слышать мнение: если

бы мы не взяли власти в октябре, мы бы ее взяли двумя-тремя месяцами позже. Грубое заблуждение! Если бы мы не взяли власти в октябре, мы бы ее не взяли совсем. Силу нашу перед октябрем составлял непрерывный прилив к нам массы, которая верила, что эта партия сделает то, чего не сделали другие. Если бы она увидела с нашей стороны в тот момент колебания, выжидательность, несоответствие между словом и делом, она отхлынула бы от нас в течение двух-трех месяцев, как перед тем отхлынула от эсеров и меньшевиков. Буржуазия получила бы передышку. Она использовала бы ее для заключения мира. Соотношение сил могло бы радикально измениться, и пролетарский переворот отодвинулся бы в неопределенную даль. Вот это именно Ленин понимал, осязал и чувствовал. Отсюда вытекали его беспокойство, тревога, недоверие и неистовый нажим, оказавшийся для революции спасительным.

Те разногласия внутри партии, которые бурно вспыхнули в дни Октября, проявились предварительно уже на нескольких этапах революции. Первая, наиболее принципиальная, но пока еще спокойно-теоретическая стычка развернулась сейчас же по приезде Ленина, в связи с его тезисами. Второе глухое столкновение произошло в связи с вооруженной демонстрацией 20 апреля. Третье—вокруг попытки вооруженной демонстрации 10 июня: „умеренные“ считали, что Ленин хотел им подкинуть вооруженную демонстрацию с перспективой восстания. Следующий конфликт, уже более острый, вспыхнул в связи с июльскими днями. Разногласия прорвались в печать. Дальнейшим этапом в развитии внутренней борьбы послужил вопрос о предпарламенте. На этот раз в партийной фракции

открыто сшиблись лицом к лицу две группировки. Велся ли какой-либо протокол заседания? Сохранился ли он?—я об этом не знаю. А прения представляли несомненно выдающийся интерес. Две тенденции: одна—на захват власти, другая—на роль оппозиции в Учредительном Собрании, определились с достаточной полнотой. Сторонники бойкота предпарламента остались в меньшинстве, недалеко, однако, отстоявшем от большинства. На прения во фракции и на вынесенное решение Ленин из своего убежища вскоре реагировал письмом в Центральный Комитет. Этого письма, где Ленин в более чем энергичных выражениях солидаризировался с бойкотистами „Булыгинской Думы" Керенского-Церетели, я не нахожу во II части XIV тома „Сочинений". Сохранился ли этот чрезвычайно ценный документ? Высшего напряжения разногласия достигли непосредственно пред октябрьским этапом, когда речь шла об окончательном принятии курса на восстание и о назначении срока восстания. И наконец, уже после переворота 25 октября разногласия чрезычайно обострились вокруг вопроса о коалиции с другими социалистическими партиями.

В высшей степени интересно было бы восстановить во всей конкретности роль Ленина накануне 20 апреля, 10 июня и июльских дней. „Мы в июле наделали глупостей",—говорил Ленин позже и в частных беседах и, помнится, на совещании с немецкой делегацией по поводу мартовских событий 1921 г. в Германии. В чем состояли эти „глупости"? В энергичном или слишком энергичном прощупывании, в активной или слишком активной разведке. Без таких разведок, производимых время от времени, можно было отстать от массы. Но известно, с другой стороны, что активная

разведка иногда волей-неволей переходит в генеральное сражение. Вот этого едва не случилось в июле. Отбой был все же дан еще достаточно во-время. А у врага не хватило в те дни смелости довести дело до конца. И вовсе не случайно не хватило: керенщина есть половинчатость по самому своему существу, и эта трусливая керенщина тем более парализовала корниловщину, чем больше сама боялась ее.

II. ПЕРЕВОРОТ.

К концу „демократического совещания“ был, по нашему настоянию, назначен срок второго Съезда Советов на 25 октября. При тех настроениях, какие нарастали с часу на час не только в рабочих кварталах, но и в казармах, нам казалось наиболее целесообразным сосредоточить внимание петербургского гарнизона на этой именно дате, как на том дне, когда Съездом Советов должен будет решаться вопрос о власти, а рабочие и войска должны будут поддержать Съезд, подготовившись как следует быть заранее. Стратегия наша по существу была наступательной: мы шли на штурм власти, но агитация была построена на том, что враги готовятся разогнать Съезд Советов и что нужно, стало быть, дать им беспощадный отпор. Весь этот план опирался на могущество революционного прилива, который стремился везде и всюду достигнуть одного и того же уровня, и не давал противнику ни отдыха, ни срока. Наиболее отсталые полки в худшем для нас случае сохраняли нейтралитет. При этих условиях малейший шаг правительства, направленный против Петроградского Совета, должен был нам сразу обеспечить решающий перевес. Ленин опасался, однако, что противник успеет подтянуть небольшие, но решительно настроенные контр-революционные войска и

выступит первым, использовав оружие внезапности против нас. Захватив партию и Советы врасплох, арестовав руководящую головку в Петербурге, противник тем самым обезглавит движение, а затем постепенно и обессилит его. „Нельзя ждать, нельзя откладывать!“ — твердил Ленин.

В этих условиях произошло, в конце сентября или в начале октября, знаменитое ночное заседание Центрального Комитета на квартире у Сухановых. Ленин явился туда с решимостью добиться на этот раз такого постановления, которое не оставляло бы места сомнениям, колебаниям, проволочкам, пассивности и выжидательности. Еще прежде, однако, чем напасть на противников вооруженного восстания, он стал нажимать на тех, кто связывал восстание со вторым Съездом Советов. Кто-то передал ему мои слова: „мы уже назначили восстание на 25 октября“. Эту фразу я действительно повторял несколько раз против тех товарищей, которые намечали путь революции через предпарламент и „внушительную“ большевистскую оппозицию в Учредительном Собрании. „Если большевистский в своем большинстве Съезд Советов, — говорил я, — не возьмет власти, то большевизм попросту выведет себя в расход. Тогда, по всей вероятности, не будет созвано и Учредительное Собрание. Созывая после всего, что было, Съезд Советов на 25 октября, с заранее обеспеченным нашим большинством, мы тем самым публично обязуемся взять власть не позже 25 октября“.

Владимир Ильич стал жестоко придираться к этой дате. Вопрос о втором Съезде Советов, говорил он, его совершенно не интересует: какое это имеет значение? состоится ли еще самый Съезд? да и что он сможет сделать, если даже соберется? Нужно вы-

рвать власть, не надо связываться со Съездом Советов, смешно и нелепо предупреждать врага о дне восстания. В лучшем случае 25 октября может стать маскировкой, но восстание необходимо устроить заранее и независимо от Съезда Советов. Партия должна захватить власть вооруженной рукой, а затем уже будем разговаривать о Съезде Советов. Нужно переходить к действию немедленно!

Как и в июльские дни, когда Ленин твердо ожидал, что „они" перестреляют нас, он и теперь продумывал за врага всю обстановку и приходил к выводу, что самым правильным, с точки зрения буржуазии, было бы захватить нас вооруженной рукой врасплох, дезорганизовать революцию и затем бить ее по частям. Как в июле, Ленин переоценивал проницательность и решительность врага, а может быть, уже и его материальные возможности. В значительной мере это была сознательная переоценка, тактически совершенно правильная: она имела своей задачей вызвать со стороны партии удвоенную энергию натиска. Но все же брать власть собственной рукою, независимо от Совета и за спиной его, партия не могла. Это было бы ошибкой. Последствия ее сказались бы даже на поведении рабочих и могли бы стать чрезвычайно тяжкими в отношении гарнизона. Солдаты знали совет депутатов, свою солдатскую секцию. Партию они знали через Совет. И если бы восстание совершилось за спиной Совета, вне связи с ним, не прикрытое его авторитетом, не вытекающее прямо и ясно для них из исхода борьбы за власть Советов,—это могло бы вызвать опасное замешательство в гарнизоне. Не нужно также забывать, что в Петербурге, на-ряду с местным Советом, существовал еще старый В.Ц.И.К.,

с эсерами и меньшевиками во главе. Этому В.Ц.И.К. можно было противопоставить только Съезд Советов.

В конце концов, в Центральном Комитете определились три группировки: противники захвата власти, оказавшиеся вынужденными логикой положения отказаться от лозунга „власть Советам"; Ленин, требовавший немедленной организации восстания, независимо от Советов, и остальная группа, которая считала необходимым тесно связать восстание со вторым Съездом Советов и тем самым придвинуть его к последнему во времени. „Во всяком случае,—настаивал Ленин,—захват власти должен предшествовать Съезду Советов, иначе вас разобьют и никакого Съезда вы не созовете". В конце концов, вынесена была резолюция в том смысле, что восстание должно произойти не позже 15 октября. Насчет самого срока споров, помнится, почти не было. Все понимали, что срок имеет лишь приблизительный, так сказать, ориентировочный характер и что, в зависимости от событий, можно будет несколько приблизить или несколько отдалить его. Но речь могла итти только о днях, не более. Самая необходимость срока, и притом ближайшего, была совершенно очевидна.

Главные прения на заседаниях Центрального Комитета шли, разумеется, по линии борьбы с той его частью, которая выступала против вооруженного восстания вообще. Я не берусь воспроизвести те три-четыре речи, которые произнес Ленин во время этого заседания на темы: нужно ли брать власть? пора ли брать власть? удержим ли власть, если возьмем? На те же темы Лениным было написано в то время и позже несколько брошюр и статей. Ход мыслей в речах на заседании был, разумеется, тот же. Но непере-

даваемым и невоспроизводимым остался общий дух этих напряженных и страстных импровизаций, проникнутых стремлением передать возражающим, колеблющимся, сомневающимся свою мысль, свою волю, свою уверенность, свое мужество. Ведь решался вопрос о судьбе революции!.. Заседание закончилось поздней ночью. Все себя чувствовали примерно так, как после перенесения хирургической операции. Часть участников заседания, и я в том числе, провели остаток ночи на квартире Сухановых.

Дальнейший ход событий, как известно, сильно помог нам. Попытка расформировать петроградский гарнизон привела к созданию военно-революционного комитета. Мы получили возможность подготовку восстания легализовать авторитетом Совета и тесно связать с вопросом, жизненно затрагивавшим весь петроградский гарнизон.

За время, отделяющее описанное выше заседание Ц.К. от 25 октября, я помню только одно свидание с Владимиром Ильичем, но и то смутно. Когда это было? Должно быть, около 15—20 октября. Помню, что меня очень интересовало, как отнесся Ленин к „оборонительному“ характеру моей речи на заседании Петроградского Совета: я объявил ложными слухи о том, будто мы готовим на 22 октября („День Петроградского Совета“) вооруженное восстание, и предупредил, что на всякое нападение ответим решительным контрударом и доведем дело до конца. Помню, что настроение Владимира Ильича в это свидание было более спокойным и уверенным, я бы сказал, менее подозрительным. Он не только не возражал против внешне-оборонительного тона моей речи, но признал этот тон вполне пригодным для усыпления бдительности

врага. Тем не менее, он покачивал время от времени головой и спрашивал: „а не предупредят ли они нас? не захватят ли врасплох?“. Я доказывал, что дальше все пойдет почти автоматически. На этом свидании, или на известной части его, присутствовал, кажется, т. Сталин. Может быть, впрочем, я соединяю здесь воедино два свидания. Должен вообще сказать, что воспоминания, относящиеся к последним дням, предшествовавшим перевороту, как бы спрессованы в памяти, и их очень трудно отделять друг от друга, разворачивать и распределять по местам.

Следующее свидание мое с Лениным произошло уже в самый день 25 октября, в Смольном. В котором часу? Совершенно не представляю себе; должно быть, к вечеру уже. Помню хорошо, что Владимир Ильич начал с тревожного вопроса по поводу тех переговоров, которые мы вели со штабом петроградского округа относительно дальнейшей судьбы гарнизона. В газетах сообщалось, что переговоры близятся к благополучному концу. „Идете на компромисс?“— спрашивал Ленин, всверливаясь глазами. Я отвечал, что мы пустили в газеты успокоительное сообщение нарочно, что это лишь военная хитрость в момент открытия генерального боя. „Вот это хо-ро-о-шо-о-о,— нараспев, весело, с подъемом проговорил Ленин и стал шагать по комнате, возбужденно потирая руки.— Это оч-чень хорошо!“ Военную хитрость Ильич любил вообще. Обмануть врага, оставить его в дураках—разве это не самое разлюбезное дело! Но в данном случае хитрость имела совсем особое значение: она означала, что мы уже непосредственно вступили в полосу решающих действий. Я стал рассказывать, что военные операции зашли уже достаточно далеко

и что мы владеем сейчас в городе целым рядом важных пунктов. Владимир Ильич увидел, или может быть я показал ему, отпечатанный накануне плакат, угрожавший громилам, если бы они попытались воспользоваться моментом переворота, истреблением на месте. В первый момент Ленин как бы задумался, мне показалось—даже усумнился. Но затем сказал: „Пр-р-равильно". Он с жадностью набрасывался на эти частички восстания. Они были для него бесспорным доказательством того, что на этот раз дело уже в полном ходу, что Рубикон перейден, что возврата и отступления нет. Помню, огромное впечатление произвело на Ленина сообщение о том, как я вызвал письменным приказом роту Павловского полка, чтобы обеспечить выход нашей партийной и советской газеты.

— И что ж, рота вышла?

— Вышла.

— Газеты набираются?

— Набираются.

Ленин был в восторге, выражавшемся в восклицаниях, смехе, потирании рук. Потом он стал молчаливее, подумал и сказал: „Что ж, можно и так. Лишь бы взять власть". Я понял, что он только в этот момент окончательно примирился с тем, что мы отказались от захвата власти путем конспиративного заговора. Он до последнего часа опасался, что враг пойдет наперерез и застигнет нас врасплох. Только теперь, вечером 25 октября, он успокоился и окончательно санкционировал тот путь, каким пошли события. Я сказал „успокоился",—но только для того, чтобы тут же притти в беспокойство по поводу целого ряда конкретных и конкретнейших вопросов и вопросиков, связанных с дальнейшим ходом восстания: „А послу-

шайте, не сделаете ли так-то? а не предпринять ли то-то? а не вызвать ли таких-то?“. Эти бесконечные вопросы и предложения внешним образом не были связаны друг с другом, но все вырастали из одной и той же напряженной внутренней работы, охватывавшей сразу весь круг восстания.

Нужно уметь не захлебнуться в событиях революции. Когда прилив неизменно поднимается, когда силы восстания автоматически нарастают, а силы реакции фатально дробятся и распадаются, тогда велико искушение отдаться стихийному течению событий. Быстрый успех обезоруживает, как и поражение. Не терять из виду основной нити событий; после каждого нового успеха говорить себе: еще ничто не достигнуто, еще ничто не обеспечено; за пять минут до решающей победы вести дело с такою же бдительностью, энергией и с таким же напором, как за пять минут до открытия вооруженных действий; через пять минут после победы, еще прежде, чем отзвучали первые приветственные клики, сказать себе: завоевание еще не обеспечено, нельзя терять ни минуты,—таков подход, таков образ действий, таков метод Ленина, таково органическое существо его политического характера, его революционного духа.

* * *

Я уже рассказывал однажды, как Дан, идя, должно быть, на фракционное заседание меньшевиков второго Съезда Советов, узнал законспирированного Ленина, с которым мы сидели за небольшим столиком в какой-то проходной комнате. На этот сюжет написана даже картина, совершенно, впрочем, насколько

могу судить по снимкам, не похожая на то, что было в действительности. Такова, впрочем, уж судьба исторической живописи, да и не только ее одной. Не помню по какому поводу, но значительно позднее, я сказал Владимиру Ильичу: „Надо бы это записать, а то потом переврут". Он с шутливой безнадежностью махнул рукою: „Все равно будут врать без конца"...

В Смольном шло первое заседание второго Съезда Советов. Ленин не появлялся на нем. Он оставался в одной из комнат Смольного, в которой, как помню, не было почему-то никакой или почти никакой мебели. Потом уже кто-то постлал на полу одеяла и положил на них две подушки. Мы с Владимиром Ильичем отдыхали, лежа рядом. Но уже через несколько минут меня позвали: „Дан говорит, нужно отвечать". Вернувшись после своей реплики, я опять лег рядом с Владимиром Ильичем, который, конечно, и не думал засыпать. До того ли было? Каждые пять-десять минут кто-нибудь прибегал из зала заседаний сообщить о том, что там происходит. А кроме того, приходили вестники из города, где, под руководством Антонова-Овсеенко, шла осада Зимнего, закончившаяся штурмом.

Должно быть, это было на другое утро, отделенное бессонной ночью от предшествовавшего дня. У Владимира Ильича вид был усталый. Улыбаясь, он сказал: „Слишком резкий переход от подполья и переверзевщины — к власти. Es schwindelt (кружится голова)", — прибавил он почему-то по немецки и сделал вращательное движение рукой возле головы. После этого единственного более или менее личного замечания, которое я слышал от него по поводу завоевания власти, последовал простой переход к очередным делам.

III. БРЕСТ-ЛИТОВСК.

К мирным переговорам мы подходили с надеждой раскачать рабочие массы как Германии и Австро-Венгрии, так и стран Антанты. С этой целью нужно было как можно дольше затягивать переговоры, чтобы дать европейским рабочим время воспринять, как следует быть, самый факт советской революции и, в частности, ее политику мира. Ленин предложил мне, после первого перерыва в переговорах, отправиться в Брест-Литовск. Сама по себе перспектива переговоров с бароном Кюльманом и генералом Гофманом была мало привлекательна, но „чтобы затягивать переговоры, нужен затягиватель“, как выразился Ленин. Мы кратко обменялись в Смольном мнениями относительно общей линии переговоров. Вопрос о том, будем ли подписывать или нет, пока отодвинули: нельзя было знать, как пойдут перегеворы, как отразятся в Европе, какая создастся обстановка. А мы не отказывались, разумеется, от надежд на быстрое революционное развитие.

То, что мы не можем воевать, было для меня совершенно очевидно. Когда я в первый раз проезжал через окопы на пути в Брест-Литовск, наши товарищи, несмотря на все предупреждения и понукания, оказались бессильны организовать сколько-нибудь значительную манифестацию протеста против чрезмерных

требований Германии: окопы были почти пусты, никто не отважился говорить даже условно о продолжении войны. Мир, мир во что бы то ни стало!.. Позже, во время приезда из Брест-Литовска, я уговаривал представителя военной группы во В.Ц.И.К. поддержать нашу делегацию „патриотической“ речью. „Невозможно, — отвечал он, — совершенно невозможно; мы не сможем вернуться в окопы, нас не поймут; мы потеряем всякое влияние“... Таким образом насчет невозможности революционной войны у меня не было и тени разногласия с Владимиром Ильичем.

Но был еще вопрос: смогут ли воевать немцы, смогут ли они наступать на революцию, которая заявит о прекращении войны? Как узнать, как прощупать настроение германской солдатской массы? Какое действие произвели на нее февральская, а затем и Октябрьская революции? Январская стачка в Германии говорила о том, что сдвиг начался. Какова глубина сдвига? Не нужно ли попытаться поставить немецкий рабочий класс и немецкую армию перед испытанием: с одной стороны—рабочая революция, объявляющая войну прекращенной; с другой стороны—гогенцоллернское правительство, приказывающее на эту революцию наступать.

„Конечно, это очень заманчиво,—возражал Ленин,—и несомненно, такое испытание не пройдет бесследно. Но это рискованно, очень рискованно. А если германский милитаризм, что весьма вероятно, окажется достаточно силен, чтобы открыть против нас наступление,—что тогда? Нельзя рисковать: сейчас нет на свете ничего важнее нашей революции“.

Разгон Учредительного Собрания на первых порах чрезвычайно ухудшил наше международное положе-

ние. Немцы все же опасались вначале, что мы сговоримся с „патриотическим" Учредительным Собранием, и что это может привести к попытке продолжения войны. Такого рода безрассудная попытка окончательно погубила бы революцию и страну; но это обнаружилось бы только позже, и потребовало бы нового напряжения от немцев. Разгон же Учредительного Собрания означал для немцев нашу очевидную готовность к прекращению войны какой угодно ценой. Тон Кюльмана сразу стал наглее. Какое впечатление разгон Учредительного Собрания мог произвести на пролетариат стран Антанты? На это не трудно было ответить себе: антантовская печать изображала советский режим не иначе, как агентуру Гогенцоллернов. И вот большевики разгоняют „демократическое" Учредительное Собрание, чтобы заключить с Гогенцоллерном кабальный мир в то время, как Бельгия и северная Франция заняты немецкими войсками. Было ясно, что антантовской буржуазии удастся посеять в рабочих массах величайшую смуту. А это могло облегчить, в свою очередь, военную интервенцию против нас. Известно, что даже в Германии, среди социал-демократической оппозиции, ходили настойчивые слухи о том, что большевики подкуплены германским правительством, и что в Брест-Литовске происходит сейчас комедия с заранее распределенными ролями. Еще более вероподобной эта версия должна была казаться во Франции и Англии. Я считал, что до подписания мира необходимо во что бы то ни стало дать рабочим Европы яркое доказательство смертельной враждебности между нами и правящей Германией. Именно под влиянием этих соображений я пришел в Брест-Литовске к мысли о той „педагогической„

демонстрации, которая выражалась формулой: войну прекращаем, но мира не подписываем. Я посоветовался с другими членами делегации, встретил с их стороны сочувствие и написал Владимиру Ильичу. Он ответил: когда приедете, поговорим; может быть, впрочем, в этом его ответе было уже формулировано несогласие с моим предложением; сейчас я этого не помню, письма у меня под руками нет, да я и не уверен, сохранилось ли оно вообще. После моего приезда в Смольный происходили у меня с Владимиром Ильичем долгие беседы.

— Все это очень заманчиво, и было бы так хорошо, что лучше не надо, если бы генерал Гофман оказался не в силах двинуть свои войска против нас. Но на это надежды мало. Он найдет для этого специально подобранные полки из баварских кулаков, да и много ли против нас надо? Ведь вы сами говорите, что окопы пусты. А если он все-таки возобновит войну?

— Тогда мы вынуждены будем подписать мир, и тогда для всех будет ясно, что у нас нет другого исхода. Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной связи с Гогенцоллерном.

— Конечно, тут есть свои плюсы. Но это все же слишком рискованно. Сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция; ее надо обезопасить во что бы то ни стало.

К основным трудностям вопроса присоединились еще крайние затруднения внутрипартийного порядка. В партии, по крайней мере в ее руководящих элементах, господствовало непримиримое отношение к подписанию брестских условий. Печатавшиеся в наших газетах отчеты о переговорах питали и обостряли это

настроение. Наиболее яркое выражение оно нашло в группировке левого коммунизма, выдвинувшей лозунг революционной войны. Это обстоятельство, разумеется, чрезвычайно беспокоило Ленина.

— Если Центральный Комитет решит подписать немецкие условия только под влиянием словесного ультиматума, — говорил я, — мы рискуем вызвать в партии раскол. Нашей партии обнаружение действительного положения вещей нужно не меньше, чем рабочим Европы... Если мы порвем с левыми, партия даст чрезвычайный крен вправо: ведь это же несомненный факт, что все те товарищи, которые занимали боевую позицию против октябрьского переворота или за блок социалистических партий, оказались безоговорочными сторонниками брест-литовского мира. А задачи наши ведь не исчерпываются заключением мира, среди левых коммунистов много таких, которые играли наиболее боевую роль в октябрьский период и пр. и пр.

— Это все бесспорно,—отвечал Владимир Ильич. — Но сейчас дело идет о судьбе революции. Равновесие в партии мы востановим. Но прежде всего нужно спасти революцию, а спасти ее может только подписание мира. Лучше раскол, чем опасность военного разгрома революции. Левые побалуют, а затем—если даже доведут до раскола, что не неизбежно—возвратятся в партию. Если же немцы нас разгромят, то уж нас никто не возвратит... Ну, хорошо, допустим, что принят ваш план. Мы отказались подписать мир. А немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете?

— Подписываем мир под штыками. Тогда картина ясна рабочему классу всего мира.

— А вы не поддержите тогда лозунг революционной войны?

— Ни в каком случае.

— При такой постановке опыт может оказаться не столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию или Латвию. У меня были эстонские товарищи и рассказывали, как они хорошо подошли к социалистическому строительству в сельском хозяйстве. Очень будет жаль пожертвовать социалистической Эстонией,—шутил Ленин,—но уж придется, пожалуй, для доброго мира пойти на этот компромисс.

— А в случае немедленного подписания мира разве исключена возможность немецкой военной интервенции в Эстонии или Латвии?

— Положим, что так, но там только возможность, а здесь почти наверняка. Я во всяком случае буду выступать за немедленное подписание: это вернее.

Главное опасение Ленина насчет моего плана состояло в том, что, в случае возобновления немецкого наступления, мы не успеем подписать мир, т.-е. немецкий милитаризм не даст нам для этого времени: сей зверь прыгает быстро,—много раз повторял Владимир Ильич. На совещаниях, которые решали вопрос о мире, Ленин выступал очень решительно против левых и очень осторожно и спокойно против моего предложения. Он, скрепя сердце, мирился с ним, поскольку партия была явно против подписания, и поскольку промежуточное решение должно было явиться для партии мостом к подписанию мира. Совещание наиболее видных большевиков—делегатов III Съезда Советов—с несомненностью показало, что наша партия, едва вышедшая из горячей октябрьской печи, нуждалась в проверке международной обстановки действием.

Если б не было промежуточной формулы, большинство высказалось бы за революционную войну.

Небезынтересно, может быть, тут же отметить, что левые эсеры вовсе не сразу выступили против брест-литовского мира. По крайней мере, Спиридонова была в первое время решительной сторонницей подписания: „Мужик не хочет войны, — говорила она, — и примет какой угодно мир". „Подпишите сейчас же мир, — говорила она мне в первый мой приезд из Бреста, — и отмените хлебную монополию". Потом левые эсеры поддержали промежуточную формулу прекращения войны без подписания договора, но уже как этап к революционной войне — „в случае чего".

Как известно, немецкая делегация реагировала на наше заявление так, как если бы Германия не предполагала ответить возобновлением военных действий. С этим выводом мы вернулись в Москву.

— А не обманут они нас? — спрашивал Ленин.

Мы разводили руками. Как будто не похоже.

— Ну, что ж, — сказал Ленин. — Если так, тем лучше и аппарансы (видимость) соблюдены, и из войны вышли *).

Однако за два дня до истечения срока мы получили от остававшегося в Бресте генерала Самойло телеграфное извещение о том, что немцы, по заявлению генерала Гофмана, считают себя с 12 часов 18 февраля в состоянии войны с нами, и потому предложили ему удалиться из Брест-Литовска. Телеграмму эту первым получил Владимир Ильич. Я был у него в кабинете. Шел разговор с Карелиным и еще с кем-то из левых эсеров. Получив телеграмму, Ленин молча передал ее

*) Приведенные в этой главе диалоги имеют, разумеется, лишь приблизительный характер, но фразу „об аппарансах" помню дословно.

мне. Помню его взгляд, сразу заставивший меня почувствовать, что телеграмма принесла большое и недоброе известие. Ленин поспешил закончить разговор с эсерами, чтобы обсудить создавшееся положение.

— Значит, все-таки обманули. Выгадали 5 дней... Этот зверь ничего не упускает. Теперь уж, значит, ничего не остается, как подписать старые условия, если только немцы согласятся сохранить их.

Я возражал в том смысле, что нужно дать Гофману перейти в фактическое наступление.

— Но ведь это значит сдать Двинск, потерять много артиллерии и пр.?

— Конечно, это означает новые жертвы. Но нужно, чтобы немецкий солдат фактически, с боем вступил на советскую территорию. Нужно, чтобы об этом узнали немецкий рабочий, с одной стороны, французский и английский—с другой.

— Нет, — возразил Ленин.—Дело, конечно, не в Двинске, но сейчас нельзя терять ни одного часу. Испытание проделано. Гофман хочет и может воевать. Откладывать нельзя: и так у нас уже отняли 5 дней, на которые я рассчитывал. А этот зверь прыгает быстро.

Центральным Комитетом было вынесено решение о посылке телеграммы с выражением немедленного согласия на подписание брест-литовского договора. Соответственная телеграмма была отправлена.

— Мне кажется, — сказал я в частном разговоре Владимиру Ильичу, — что политически было бы целесообразно, если бы я, как наркоминдел, подал в отставку.

— Зачем? Мы, ведь, этих парламентских приемов заводить не будем.

— Но моя отставка будет для немцев означать радикальный поворот политики, и усилит их доверие к нашей действительной на этот раз готовности подписать мир и соблюдать его.

— Пожалуй, — сказал Ленин, размышляя.—Это серьезный политический довод.

Не припоминаю, в какой момент получилось сообщение о десанте немецких войск в Финляндии и о начавшемся разгроме финских рабочих. Помню, я столкнулся с Владимиром Ильичем в коридоре, недалеко от его кабинета. Он был чрезвычайно взволнован. Я не видал его таким никогда, ни раньше, ни позже.

— Да, — сказал он,— повидимому, придется драться, хоть и нечем. Но иного выхода на этот раз, кажется, нет...

Такова была первая реакция Ленина на телеграмму о разгроме финской революции. Но уж минут через 10—15, когда я зашел к нему в кабинет, он сказал:

— Нет, нельзя менять политики. Наше выступление не спасло бы революционной Финляндии, но наверняка погубило бы нас. Всем, чем можно, поможем финским рабочим, но не сходя с почвы мира. Не знаю, спасет ли нас это теперь. Но это во всяком случае, единственный путь, на котором еще возможно спасение.

И спасение действительно оказалось на этом пути.

* * *

Решение не подписывать мира вовсе не вытекало, как теперь иной раз пишут, из абстрактного соображения, будто вообще немыслимо соглашение между нами и империалистами. Достаточно посмотреть в книжке

т. Овсянникова произведенные Лениным в высшей степени поучительные голосования по этому вопросу, чтобы убедиться, что сторонники прощупывательной формулы „ни войны ни мира“ ответили положительно на вопрос, вправе ли мы, как революционная партия, подписать в известных условиях „похабный“ мир. На самом деле мы говорили: если есть хоть 25 шансов на 100, что Гогенцоллерн не решится или не сможет воевать с нами, нужно, хотя бы и с известным риском, пойти на этот опыт.

Три года спустя мы шли на риск — на этот раз по инициативе Ленина — прощупывания штыком буржуазно-шляхетской Польши. Мы были отброшены. В чем тут разница с Брест-Литовском? Принципиальной разницы нет, но есть разница в степени риска.

Помнится, т. Радек писал как-то, что могущество тактической мысли Ленина ярче всего выражается в размахе между подписанием брест-литовского мира и походом на Варшаву. Все мы теперь знаем, что поход на Варшаву был ошибкой, которая обошлась страшно дорого. Она не только привела нас к рижскому миру, который отрезал нас от Германии, но и дала, на-ряду с другими событиями того же периода, могущественный толчек консолидации буржуазной Европы. Контр-революционное значение рижского договора для судеб Европы можно яснее всего понять, представив себе обстановку хотя бы одного только 1923 г., при условии, что у нас с Германией имелась бы общая граница: слишком многое говорит за то, что развитие событий в Германии развернулось бы в этом случае совершенно другим путем. Нельзя сомневаться также и в том, что в самой Польше революционное движение пошло бы несравненно более благоприятным

темпом без нашей военной интервенции и ее крушения. Ленин сам, насколько я знаю, придавал огромное значение „варшавской" ошибке. И тем не менее, Радек в своей оценке ленинского тактического размаха совершенно прав. Разумеется, после того, как „прощупывание" трудящихся масс Польши было произведено и не дало ожидавшихся результатов; после того, как нас отбросили назад — и не могли не отбросить, ибо при сохранении спокойствия в Польше наш поход на Варшаву был только партизанским набегом; после того, как мы оказались вынужденными подписать рижский мир, — не трудно сделать вывод, что правы были противники похода, и что лучше было бы остановиться во-время и обеспечить за собою общую границу с Германией. Но ведь все это стало ясно лишь задним числом. А то, что знаменательно для Ленина в идее варшавского похода, это — мужество замысла. Риск был велик, но цель превосходила риск. Возможная неудача плана не несла с собою опасности самому существованию советской республики, а только ее ослабление...

Можно предоставить будущему историку оценивать, стоило ли рисковать ухудшением условий брест-литовского мира в целях демонстрации перед европейскими рабочими. Но совершенно очевидно, что после того, как эта демонстрация была проделана, должно и обязательно было подписать навязанный мир. И здесь отчетливость позиции Ленина и его могучий напор спасли положение.

— А если немцы будут все же наступать? А если двинуться на Москву?

— Отступим дальше на восток, на Урал, заявляя о готовности подписать мир. Кузнецкий бассейн богат

углем. Создадим Урало-Кузнецкую республику, опираясь на уральскую промышленность и на кузнецкий уголь, на уральский пролетариат и на ту часть московских и питерских рабочих, которых удастся увезти с собой. Будем держаться. В случае нужды, уйдем еще дальше на восток, за Урал. До Камчатки дойдем, но будем держаться. Международная обстановка будет меняться десятки раз, и мы из пределов Урало-Кузнецкой республики снова расширимся и вернемся в Москву и Петербург. А если мы ввяжемся сейчас без смысла в революционную войну и дадим вырезать цвет рабочего класса и нашей партии, тогда уж, конечно, никуда не вернемся.

В тот период Урало-Кузнецкая республика занимала большое место в аргументации Ленина. Он иногда прямо-таки огорашивал оппонентов вопросом: „А вы знаете, что в Кузнецком бассейне у нас огромные залежи угля? В соединении с уральской рудой и сибирским хлебом мы имеем новую базу". Оппонент, не всегда ясно себе представлявший, где находится Кузнецк, и какое отношение имеет тамошний уголь к последовательному большевизму и революционной войне, таращил глаза или смеялся от неожиданности, полагая, что Ильич не то шутит, не то хитрит. А на самом деле Ленин нисколько не шутил, а—верный себе—продумывал обстановку до ее крайних последствий и наихудших практических выводов. Концепция Урало-Кузнецкой республики ему органически необходима была, чтобы укрепить себя и других в убеждении, что ничто еще не потеряно, и что для стратегии отчаяния нет и не может быть места.

До Урало-Кузнецкой республики дело, как известно, не дошло, и хорошо, что не дошло. Но можно

сказать все же, что неосуществившаяся Урало-Кузнецкая республика спасла Р. С. Ф. С. Р.

Во всяком случае, понять и оценить брест-литовскую тактику Ленина можно, только связав ее с его октябрьской тактикой. Быть против Октября и за Брест значило в обоих случаях быть по существу выразителем одних и тех же капитулянтских настроений. Вся суть в том, что Ленин развил за брест-литовскую капитуляцию ту же самую неистощимую революционную энергию, которая обеспечила партии победу в Октябре. Именно, это естественное, органическое сочетание Октября с Брестом, гигантского размаха с мужественной осторожностью, напора с глазомером дает меру ленинского метода и ленинской силы.

IV. РАЗГОН УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

В первые же дни, если не часы, после переворота Ленин поставил вопрос об Учредительном Собрании.

— Надо отсрочить,—предложил он,—надо отсрочить выборы. Надо расширить избирательные права, дав их 18-летним. Надо дать возможность обновить избирательные списки. Наши собственные списки никуда не годятся: множество случайной интеллигенции, а нам нужны рабочие и крестьяне. Корниловцев, кадетов надо объявить вне закона.

Ему возражали:

— Неудобно сейчас отсрочивать. Это будет понято, как ликвидация Учредительного Собрания, тем более, что мы сами обвиняли временное правительство в оттягивании Учредительного Собрания.

— Пустяки!—возражал Ленин.—Важны факты, а не слова. По отношению к временному правительству Учредительное Собрание означало или могло означать шаг вперед, а по отношению к советской власти, и особенно при нынешних списках, будет неизбежно означать шаг назад. Почему неудобно отсрочивать? А если Учредительное Собрание окажется кадетски-меньшевистски-эсеровским, это будет удобно?

— Но к тому времени мы будем сильнее,—возражали другие,—а сейчас мы еще слишком слабы. О советской власти в провинции почти ничего не знают.

И если туда теперь же попадет весть о том, что мы отсрочили Учредительное Собрание, это нас ослабит еще более.—Особенно энергично против отсрочки выступал Свердлов, более нас связанный с провинцией.

Ленин со своей позицией оказался одиноким. Он недовольно поматывал головой и повторял:

— Ошибка, явная ошибка, которая может нам дорого обойтись! Как бы эта ошибка не стоила революции головы...

Но когда решение было принято: не отсрочивать!— Ленин перенес все свое внимание на организационные меры, связанные с осуществлением Учредительного Собрания.

Выяснилось тем временем, что мы будем в меньшинстве, даже с левыми эсерами, которые шли в общих списках с правыми и были кругом обмануты.

— Надо, конечно, разогнать Учредительное Собрание,—говорил Ленин,—но вот, как насчет левых эсеров?

Нас, однако, очень утешил старик Натансон. Он зашел к нам „посоветоваться" и с первых же слов сказал:

— А ведь придется, пожалуй, разогнать Учредительное Собрание силой.

— Браво!—воскликнул Ленин,—что верно, то верно! А пойдут ли на это ваши?

— У нас некоторые колеблются, но я думаю, что, в конце концов, согласятся,—ответил Натансон.

Левые эсеры тогда переживали медовые недели своего крайнего радикализма: они действительно согласились.

— А не сделать ли нам так,—предложил Натансон:— присоединить вашу и нашу фракции Учредительного Собрания к Центральному Исполнительному Комитету и образовать таким образом Конвент?

— Зачем?—с явной досадой ответил Ленин.—Для подражания французской революции, что ли? Разгоном учредилки мы утверждаем советскую систему. А при вашем плане все будет спутано: ни то, ни се.

Натансон попробовал было доказывать, что при его плане мы присоединим к себе часть авторитета Учредительного Собрания, но скоро сдался.

Ленин занялся вопросом об учредилке вплотную.

— Ошибка явная,—говорил он:—власть уже завоевана нами, а мы между тем поставили сами себя в такое положение, что вынуждены принимать военные меры, чтоб завоевать ее снова.

Подготовку он вел со всей тщательностью, продумывая все детали и подвергая на этот счет пристрастному допросу Урицкого, назначенного, к великому его прискорбию, комиссаром Учредительного Собрания. Ленин распорядился, между прочим, о доставке в Петроград одного из латышских полков, наиболее рабочего по составу.

— Мужик может колебнуться в случае чего,—говорил он,—тут нужна пролетарская решимость.

Большевистские депутаты Учредительного Собрания, съехавшиеся со всех концов России, были, под нажимом Ленина и руководством Свердлова, распределены по фабрикам, заводам и воинским частям. Они составляли важный элемент в организационном аппарате „дополнительной революции“ 5 января. Что касается эсеровских депутатов, то те считали несовместимым с высоким званием народного избранника участие в борьбе: „Народ нас избрал, пусть он нас и защищает“. По существу дела, эти провинциальные мещане совершенно не знали, что с собой делать, а большинство и просто трусило. Зато они тща-

тельно разработали ритуал первого заседания. Они принесли с собой свечи на случай, если большевики потушат электричество, и большое количество бутербродов на случай, если их лишат пищи. Так демократия явилась на бой с диктатурой—во всеоружии бутербродов и свечей. Народ и не подумал о поддержке тех, которые считали себя его избранниками, а на деле были тенями уже исчерпанного периода революции.

Во время ликвидации Учредительного Собрания я был в Брест-Литовске. Но в день моего ближайшего приезда на совещание в Петроград Ленин говорил мне по поводу разгона учредилки: „Конечно, было очень рискованно с нашей стороны, что мы не отложили созыва,—очень, очень неосторожно. Но, в конце концов, вышло лучше. Разгон Учредительного Собрания советской властью есть полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной диктатуры. Теперь урок будет твердый". Так, теоретическое обобщение шло рука-об-руку с применением латышского стрелкового полка. Несомненно, что в то время должны были окончательно сложиться в сознании Ленина те идеи, которые он позже, во время первого Конгресса Коминтерна, формулировал в своих замечательных тезисах о демократии.

Критика формальной демократии имеет, как известно, свою длинную историю. Межеумочный характер революции 1848 года и мы и наши предшественники объясняли крушением политической демократии. Ей на смену пришла демократия „социальная". Но буржуазное общество сумело заставить эту последнюю занять то место, которого уже не в силах была удерживать чистая демократия. Политическая история про-

шла через длительный период, когда социальная демократия, питаясь критикой чистой демократии, фактически выполняла обязанности последней и пропиталась насквозь ее пороками. Произошло то, что не раз бывало в истории: оппозиция оказалась призванной для консервативного разрешения тех задач, с которыми не могли уже справиться скомпрометированные силы вчерашнего дня. Из временного условия подготовки пролетарской диктатуры демократия стала верховным критерием, последней контрольной инстанцией, неприкосновенной святыней, т.-е. высшим лицемерием буржуазного общества. Так было и у нас. Получив смертельный материальный удар в октябре, буржуазия пыталась еще воскреснуть в январе, в призрачно-священной форме Учредительного Собрания. Дальнейшее победоносное развитие пролетарской революции после открытого, явного, грубого разгона Учредительного Собрания нанесло формальной демократии тот благодетельный удар, от которого ей уже не подняться никогда. Вот почему Ленин был прав, говоря: „В конце концов, лучше, что так вышло!“.

* *
*

В лице эсеровской учредилки февральская республика получила оказию умереть вторично.

На фоне общего моего впечатления от официальной февральской России, от тогдашнего меньшевистски-эсеровского Петроградского Совета, ярко вырисовывается и сейчас, точно это было вчера, одна физиономия эсеровского делегата. Ни кто он, ни откуда он, я не знал и не знаю. Должно быть, из провинции. Видом он был похож на молодого учителя из хороших семинаристов.

Курносое, почти безусое лицо, простовато скуластое, в очках. Это было на том заседании, где министры-социалисты впервые представлялись Совету. Чернов пространно, умильно, рыхло, кокетливо и тошнотворно объяснял, почему именно он и другие вошли в правительство, и какие из этого воспоследуют благие последствия. Помню одну надоедливую фразу, повторявшуюся оратором десятки раз: „Вы нас вдвинули в правительство, вы нас можете и выдвинуть". Семинарист глядел на оратора глазами сосредоточенного обожания. Так должен чувствовать и смотреть верующий богомолец, попавший в преславную обитель и сподобившийся услышать поучение пресвятого старца. Речь лилась бесконечно, зал моментами уставал, поднимался шумок. Но у семинариста источники благоговейного восторга казались неиссякаемыми.—Вот как она выглядит, наша или, вернее, их революция!—говорил я себе на этом первом увиденном и услышанном мною Совете 1917 г. По окончании черновской речи зал бурно аплодировал. Только в одном уголку недовольно переговаривались немногочисленные большевики. Эта группа сразу выделилась на общем фоне, когда она дружно поддержала мою критику оборонческого министериализма меньшевиков и эсеров. Благоговейный семинарист был испуган и встревожен до последней степени. Не возмущен: в те дни он еще не смел чувствовать возмущение против прибывшего на родину эмигранта. Но он не мог понять, как можно быть против такого во всех отношениях радостного и прекрасного факта, как вступление Чернова в состав временного правительства. Он сидел в нескольких шагах от меня, и на лице его, которое служило для меня барометром собрания, испуг

и недоумение боролись с еще не успевшим сползти благоговением. Это лицо навсегда осталось в памяти, как образ февральской революции—ее лучший образ, простовато-наивный, низовой, мещански-семинарский, ибо у нее был и другой, худший, дано-черновский.

Недаром ведь и не случайно Чернов оказался председателем Учредительного Собрания. Его подняла февральская Россия, лениво-революционная, еще полу-обломовская, республикански-маниловская и, ох, какая (в одной части) простоватая! и, ах, какая (в другой части) жуликоватая!.. Спросонок мужик поднимал и выпирал наверх Черновых через посредство благоговейных семинаристов. И Чернов принимал этот мандат не без рассейской грации и не без рассейского же плутовства.

Ибо Чернов—и к этому я веду речь—в своем роде тоже национален. Я говорю „тоже“ потому, что года четыре тому назад мне пришлось писать о национальном в Ленине. Сопоставление или хотя бы косвенное сближение этих двух фигур может показаться неуместным. И оно действительно было бы грубо, неуместно, если бы дело шло о личностях. Но речь тут идет о „стихиях“ национального, об их воплощении и отражении. Чернов есть эпигонство старой революционной интеллигентской традиции, а Ленин—ее завершение и полное преодоление. В старой интеллигенции сидел и дворянин, кающийся и многоречиво размазывающий идею долга перед народом; и благоговейный семинарист, приоткрывший из лампадной тятенькиной квартиры форточку в мир критической мысли; и просвещенный мужичек, колебавшийся между социализацией и отрубным хутором; и одиночка-рабочий, понатершийся вокруг господ студентов, от своих ото-

рвавшийся, к чужим не приставший. Вот это все есть в черновщине, сладкогласой, бесформенной и межеумочной насквозь. От старого интеллигентского идеализма эпохи Софьи Перовской в черновщине почти ничего не осталось. Зато прибавилось кое-что от новой промышленно-купеческой России, главным образом, по части „не обманешь, не продашь". Герцен был в свое время огромным и великолепным явлением в развитии русской общественной мысли. Но дайте Герцену застояться на пол-столетия, да выдерните из него радужные перья таланта, превратите его в своего собственного эпигона, поставьте его на фоне 1905—1917 г.г.,— и вот вам элемент черновщины. С Чернышевским такую операцию проделать труднее, но в черновщине есть элемент карикатуры и на Чернышевского. Связь с Михайловским гораздо более непосредственная, ибо в самом Михайловском эпигонство уже преобладало. Под черновщиной, как и под всем нашим развитием, подоплека крестьянская, но преломившаяся через недозревшее полу-интеллигентное городское и сельское мещанство или через перезревшую и изрядно прокисшую интеллигенцию. Кульминация черновщины была по необходимости мимолетной. Пока толчек, данный первым февральским пробуждением солдата, рабочего и мужика через целый ряд передаточных ступеней из вольноопределяющихся, семинаристов, студентов и адвокатов, через контактные комиссии и всякие иные премудрости, успел поднять Черновых на демократические высоты, в низах произошел уже решающий сдвиг, и демократические высоты повисли в воздухе. Поэтому-то вся черновщина—между февралем и октябрем — сосредоточилась в заклинании: „остановись, мгновенье: ты прекрасно!" Но мгновенье не

останавливалось. Солдат „сатанел“, мужик становился на дыбы, даже семинарист быстро утрачивал февральское благоговение,—и в результате черновщина, распустив фалды, совсем-таки неграциозно спускалась с воображаемых высот во вполне реальную лужу.

Крестьянская подоплека есть и под ленинизмом, поскольку она есть под русским пролетариатом и под всей нашей историей. К счастью, в истории нашей не только ведь пассивность и обломовщина, но и движение. В самом крестьянине—не только предрассудок, но и рассудок. Все черты активности, мужества, ненависти к застою и насилию, презрения к слабохарактерности,—словом, все те элементы движения, которые скопились ходом социальных сдвигов и динамикой классовой борьбы, нашли свое выражение в большевизме. Крестьянская подоплека преломилась тут через пролетариат, через самую динамическую силу нашей, да и не только нашей, истории,—и этому преломлению Ленин дал законченное выражение. В этом именно смысле Ленин есть головное выражение национальной стихии. А черновщина отражает ту же национальную подоплеку, но не с головы, и даже совсем не с головы.

Траги-комический эпизод 5 января 1918 г. (разгон Учредительного Собрания) был последним принципиальным столкновением ленинизма и черновщины. Но именно лишь „принципиальным“, ибо практически никакого столкновения не было, а была маленькая и жалконькая арьергардная демонстрация сходящей со сцены „демократии“, во всеоружии свечей и бутербродов. Раздутые фикции лопнули, дешевые декорации обвалились, напыщенная моральная сила обнаружила себя глуповатым бессилием. Finis!

V. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РАБОТА.

Власть в Петербурге завоевана. Надо формировать правительство.

— Как назвать его?—рассуждал вслух Ленин.—Только не министрами: это гнусное, истрепанное название.

— Можно бы — комиссарами, — предложил я, — но только теперь слишком много комиссаров. Может быть, верховные комиссары... Нет, „верховные“ звучит плохо. Нельзя ли „народные“?

— Народные комиссары? Что ж, это, пожалуй, подойдет. А правительство в целом?

— Совет Народных Комиссаров?

— Совет Народных Комиссаров, — подхватил Ленин, — это превосходно: пахнет революцией.

Последнюю фразу помню дословно *).

За кулисами шли тягучие переговоры с Викжелем, с левыми эсерами и пр. Об этой главе могу, однако, сказать немногое. Помню только неистовое возмущение Ленина по поводу наглых викжельных претензий и не меньшее возмущение теми из наших, кому эти претензии импонировали. Но переговоры мы продол-

*) Т. Милютин рассказал этот эпизод несколько иначе; но приведенная выше редакция кажется мне более правильной. Во всяком случае, слова Ленина: „пахнет революцией“ относятся к моему предложению назвать правительство в целом Советом Народных Комиссаров.

жали, так как с Викжелем до поры до времени приходилось считаться.

По инициативе т. Каменева, был отменен введенный Керенским закон о смертной казни для солдат. Я сейчас не могу твердо припомнить, в какое учреждение Каменев внес это предложение; вероятнее всего, в военно-революционный комитет и, повидимому, уже утром 25 октября. Помню, что это было в моем присутствии и что я не возражал. Ленина при этом еще не было. Дело происходило, очевидно, до его прибытия в Смольный. Когда он узнал об этом первом законодательном акте, возмущению его не было конца.

— Вздор,—повторял он.—Как же можно совершить революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?

Каменев пробовал доказывать, что дело идет лишь об отмене смертной казни, предназначавшейся Керенским специально для дезертиров-солдат. Но Ленин был непримирим. Для него было ясно, что за этим декретом скрывается непродуманное отношение к тем невероятным трудностям, которым мы идем навстречу.

— Ошибка,—повторял он,—недопустимая слабость, пацифистская иллюзия и пр. Он предлагал сейчас же отменить этот декрет. Ему возражали, указывая на то, что это произведет крайне неблагоприятное впечатление. Кто-то сказал: лучше просто прибегнуть к расстрелу, когда станет ясным, что другого выхода нет. В конце концов, на этом остановились.

Буржуазные, эсеровские и меньшевистские газеты представляли собой с первых же дней переворота

довольно согласный хор волков, шакалов и бешеных собак. Только „Новое Время“ пыталось взять „лойальный“ тон, поджимая хвост меж задних ног.

— Неужели же мы не обуздаем эту сволочь?— спрашивал при всякой оказии Владимир Ильич.—Ну, какая же это, прости господи, диктатура!

Газеты особенно ухватились за слова „грабь награбленное“ и ворочали их на все лады: и в передовицах, и в стихах, и в фельетонах.

— И далось им это „грабь награбленное,“— с шутливым отчаянием говорил раз Ленин,

— Да чьи это слова?—спросил я,—или это выдумка?

— Да нет же, я как-то действительно это сказал,— ответил Ленин,—сказал да и позабыл, а они из этого сделали целую программу.—И он юмористически замахал рукой.

Всякий знает, кто что-нибудь знает о Ленине, что одна из сильнейших его сторон состояла в уменьи отделить каждый раз существо от формы. Но очень не мешает подчеркнуть, что он чрезвычайно ценил и форму, зная власть формального над умами и тем самым превращая формальное в материальное. С момента объявления временного правительства низложенным, Ленин систематически, и в крупном и в малом, действовал, как правительство. У нас еще не было никакого аппарата; связь с провинцией отсутствовала; чиновники саботировали; Викжель мешал телеграфным переговорам с Москвой; денег не было, и не было армии. Но Ленин везде и всюду действовал постановлениями, декретами, приказами от имени правительства. Разумеется, он был при этом дальше, чем кто бы то ни было, от суеверного преклонения перед

формальными заклинаниями. Он слишком ясно сознавал, что наша сила в том новом государственном аппарате, который строился с низов, из петроградских районов. Но для того, чтобы сопрячь работу, шедшую сверху, из опустевших или саботировавших канцелярий, с творческой работой, шедшей снизу, нужен был этот тон формальной настойчивости, тон правительства, которое сегодня еще мечется в пустоте, но которое завтра или послезавтра станет силой и потому выступает уже сегодня, как сила. Этот формализм необходим был также и для того, чтобы дисциплинировать нашу собственную братию. Над бурлящей стихией, над революционными импровизациями передовых пролетарских груп постепенно натягивались нити правительственного аппарата.

Кабинет Ленина и мой были в Смольном расположены на противоположных концах здания. Коридор, нас соединявший, или, вернее, разъединявший, был так длинен, что Владимир Ильич шутя предлагал установить сообщение на велосипедах. Мы были соединены телефоном, матросы часто прибегали, перенося замечательные ленинские записки, на небольших кусочках бумаги, из двух-трех крепких фраз, поставленных, каждая, на ребро, с двух- и трехкратным подчеркиванием наиболее существенных слов, и с заключительным вопросом—тоже ребром. Я несколько раз на дню проходил по бесконечному коридору, походившему на муравейник, в кабинет к Владимиру Ильичу на совещания. В центре стояли боевые вопросы. Заботы по министерству иностранных дел я целиком предоставил т.т. Маркину и Залкинду. Сам я ограничился написанием нескольких агитационных нот да немногочисленными приемами.

Немецкое наступление поставило нас перед труднейшими задачами, а средств для их разрешения не было, как не было и элементарнейшего уменья найти эти средства или создать их. Мы начали с воззвания. Написанный мною проект—„Социалистическое отечество в опасности"—обсуждался вместе с левыми эсерами. Эти последние, в качестве новобранцев интернационализма, смутились заголовком воззвания. Ленин, наоборот, очень одобрил: „Сразу показывает перемену нашего отношения к защите отечества на 180 градусов. Так именно и надо!". В одном из заключительных пунктов проекта говорилось об уничтожении на месте всякого, кто будет оказывать помощь врагам. Левый эсер Штейнберг, которого каким-то странным ветром занесло в революцию и даже взметнуло до Совнаркома, восставал против этой жестокой угрозы, как нарушающей „пафос воззвания".

— Наоборот,—воскликнул Ленин,—именно в этом настоящий революционный пафос (он иронически передвинул ударение) и заключается. Неужели же вы думаете, что мы выйдем победителями без жесточайшего революционного террора?

Это был период, когда Ленин при каждом подходящем случае вколачивал мысль о неизбежности террора. Всякие проявления прекраснодушия, маниловщины, халатности — а всего этого было хоть отбавляй — возмущали его не столько сами по себе, сколько как признак того, что даже верхи рабочего класса не отдают еще себе достаточного отчета в чудовищной трудности задач, которые могут быть разрешены лишь мерами чудовищной же энергии. „Им, — говорил он про врагов, — грозит опасность лишиться всего. И в то же время у них есть сотни тысяч людей, прошед-

ших школу войны, сытых, отважных, готовых на все офицеров, юнкеров, буржуазных и помещичьих сынков, полицейских, кулаков. А вот эти, извините за выражение, „революционеры“ воображают, что мы сможем совершить революцию по-доброму да по-хорошему. Да где они учились? Да что они понимают под диктатурой? Да какая у него выйдет диктатура, если он сам тютя?“. Такие тирады можно было слышать десятки раз на дню, и они всегда метили в кого-нибудь из присутствующих, подозрительного по „пацифизму“. Ленин не пропускал ни одного случая, когда говорилось при нем о революции, о диктатуре, особенно когда это происходило па заседаниях Совнаркома или в присутствии левых эсеров или колеблющихся коммунистов, чтобы не заметить тут же: „Да где у нас диктатура? Да покажите ее! У нас—каша, а не диктатура“. Слово „каша“ он очень любил. „Если мы не умеем расстрелять саботажника-белогвардейца, то какая же это великая революция? Да вы смотрите, как у нас буржуазная шваль пишет в газетах? Где же тут диктатура? Одна болтовня и каша“... Эти речи выражали его действительное настроение, имея в то же время сугубо умышленный характер: согласно своему методу, Ленин вколачивал в головы сознание необходимости исключительно суровых мер для спасения революции.

Бессилие нового государственного аппарата обнаружилось ярче всего с момента перехода немцев в наступление. „Вчера еще прочно сидели в седле,— говорил наедине Ленин,—а сегодня только лишь держимся за гриву. Зато и урок! Этот урок должен подействовать на нашу проклятую обломовщину. Наводи порядок, берись за дело, как следует быть, если не

хочешь быть рабом! Большой будет урок, если... если только немцы с белыми не успеют нас скинуть".

— А что, — спросил меня однажды совершенно неожиданно Владимир Ильич, — если нас с вами белогвардейцы убьют, смогут Бухарин со Свердловым справиться?

— Авось не убьют, — ответил я, шутя.

— А чорт их знает, — сказал Ленин и сам рассмеялся. На этом разговор и кончился.

В одной из комнат того же Смольного заседал штаб. Это было самое беспорядочное из всех учреждений. Никогда нельзя было понять, кто распоряжается, кто командует и чем именно. Тут впервые встал, в общей своей форме, вопрос о военных специалистах. Мы уже имели некоторый опыт на этот счет в борьбе с Красновым, где командующим мы назначили полковника Муравьева, а он, в свою очередь, поручил руководство операциями под Пулковым полковнику Вальдену. При Муравьеве состояло четыре матроса и один солдат, с инструкцией, — глядеть в оба и не снимать руки с револьвера. Таков был зародыш комиссарской системы. Этот опыт лег в известной мере в основу создания Высшего Военного Совета.

— Без серьезных и опытных военных нам из этого хаоса не выбраться, — говорил я Владимиру Ильичу каждый раз после посещений штаба.

— Это, повидимому, верно. Да как бы не предали...

— Приставим к каждому комиссара.

— А то еще лучше двух, — воскликнул Ленин, — да рукастых. Не может же быть, чтобы у нас не было рукастых коммунистов.

Так возникла конструкция Высшего Военного Совета.

Вопрос о переезде правительства в Москву вызвал немалые трения. Это-де похоже на дезертирство из Петрограда, основоположника Октябрьской революции. Рабочие-де этого не поймут. Смольный-де стал синонимом Советской власти, а теперь его предлагают ликвидировать и пр. и пр. Ленин буквально из себя выходил, отвечая на эти соображения: „Можно ли такими сантиментальными пустяками загораживать вопрос о судьбе революции? Если немцы одним скачком возьмут Питер и нас в нем, то революция погибла. Если же правительство—в Москве, то падение Петербурга будет только частным тяжким ударом. Как же вы этого не видите, не понимаете? Более того: оставаясь при нынешних условиях в Петербурге, мы увеличиваем военную опасность для него, как бы толкая немцев к захвату Петербурга. Если же правительство—в Москве, искушение захватить Петербург должно чрезвычайно уменьшиться: велика ли корысть оккупировать голодный революционный город, если эта оккупация не решает судьбы революции и мира? Что вы калякаете о символическом значении Смольного! Смольный—потому Смольный, что мы в Смольном. А будем в Кремле, и вся ваша символика перейдет к Кремлю". В конце концов, оппозиция была сломлена. Правительство переехало в Москву. Я еще оставался некоторое время в Петербурге, кажется, в звании председателя петербургского военно-революционного комитета. По приезде в Москву я застал Владимира Ильича в Кремле, в так называемом Кавалерском корпусе. „Каши", т.-е. беспорядка и хаоса, тут было никак не меньше, чем в Смольном. Владимир Ильич добродушно поругивал москвичей, проникнутых великим местничеством, и постепенно, шаг за шагом, натягивал вожжи.

Правительство, довольно часто обновлявшееся по частям, развертывало тем временем лихорадочную декретную работу. Каждое заседание Совнаркома первого периода представляло картину величайшей законодательной импровизации. Все приходилось начинать с начала, воздвигать на чистом месте. „Прецедентов" отыскать нельзя было, ибо таковыми история не запаслась. Даже простые справки наводить было трудно за недостатком времени. Вопросы выдвигались не иначе, как в порядке революционной неотложности, т.-е. в порядке самого невероятного хаоса. Большое причудливо перемешивалось с малым. Второстепенные практические задачи вели к сложнейшим принципиальным вопросам. Не все, далеко не все декреты были согласованы друг с другом, и Ленин не раз иронизировал, и даже публично, по поводу несогласованности нашего декретного творчества. Но, в конце концов, эти противоречия, хотя бы и очень острые с точки зрения практических задач момента, утопали в работе революционной мысли, которая законодательным пунктиром намечала новые пути для нового мира человеческих отношений.

Незачем говорить, что руководство всей этой работой принадлежало Ленину. Он неутомимо председательствовал по 5 и по 6 часов подряд в Совнаркоме (а заседания Совнаркома происходили в первый период ежедневно), переходя с вопроса на вопрос, руководя прениями, строго отпуская ораторам время по карманным часам, которые позже были заменены председательским секундомером. Вопросы, по общему правилу, ставились без подготовки и всегда, как сказано, в порядке срочности. Очень часто самое существо вопроса было неведомо и членам Совнаркома и пред-

седателю до начала прений. А прения были всегда сжатые, на вступительный доклад полагалось 5—10 минут. И, тем не менее, председатель прощупывал необходимое русло. Когда участников заседания было много, и среди них спецы и вообще незнакомые лица, Владимир Ильич прибегал к своему любимому жесту: приставив ко лбу правую руку козырьком, глядел сквозь пальцы на докладчика и вообще на участников собрания, и, вопреки смыслу поговорки „глядеть сквозь пальцы", глядел очень зорко и внимательно, высматривая, что ему нужно. На узенькой полоске бумаги, мельчайшими буквами (экономия!), заносилась запись ораторов, один глаз глядел на часы, которые время от времени показывались над столиком, чтобы напомнить оратору о необходимости кончать. И в то же время председатель быстро набрасывал на бумаге резолютивные выводы из тех соображений, которые он нашел наиболее значительными в процессе прений. Обычно к тому же еще Ленин, в целях экономии времени, посылал участникам собрания коротенькие записочки, требуя тех или других справок. Эти записки представляли собою очень обширный и очень интересный эпистолярный элемент в технике советского законодательства. Большая часть их, однако, погибла, так как ответ писался сплошь да рядом на обороте вопроса, и записочка тут же подвергалась председателем аккуратному уничтожению. В известный момент Ленин оглашал свои резолютивные пункты, выраженные всегда с намеренной резкостью и педагогической угловатостью (чтоб подчеркнуть, выдвинуть, не дать смазать), после чего прения либо вовсе прекращались, либо входили в конкретное русло практических предложений и дополнений. Ленинские „пункты" и ложились в основу декрета.

Для руководства этой работой, помимо других необходимых качеств, требовалось огромное творческое воображение. Это слово может показаться на первый взгляд неподходящим, но оно, тем не менее, выражает самую суть дела. Человеческое воображение бывает различного рода: оно так же необходимо инженеру-конструктору, как и необузданному романтику. Один из драгоценных видов воображения состоит в умении представить себе людей, вещи и явления такими, каковы они в действительности, даже и тогда, когда ты их никогда не видел. Пользуясь всем своим жизненным опытом и теоретической установкой, соединить отдельные, мелкие сведения, схваченные на-лету, проработать их, связать воедино, дополнить по каким-то неформулированным законам соответствия и воссоздать таким путем во всей ее конкретности определенную область человеческой жизни—вот воображение, которое необходимо законодателю, администратору, вождю, особенно же в эпоху революции. Сила Ленина была в огромной мере силой реалистического воображения.

Целеустремленность Ленина всегда была конкретной,—иначе, впрочем, она бы не была настоящей целеустремленностью. Ленин, кажется, в первый раз в „Искре" высказал ту мысль, что в сложной цепи политического действия нужно уметь выделить центральное для данного момента звено, чтобы, ухватившись за него, дать направление всей цепи. Позже Ленин не раз возвращался к этой мысли, а нередко и к самому образу цепи и кольца. Этот метод из сферы сознания как бы перешел у него в подсознательное, став, в конце концов, второй природой его. В наиболее критические моменты, когда дело шло об ответ-

ственном или рискованном тактическом повороте, Ленин как бы отметал все остальное, второстепенное или терпящее отлагательство. Это никак не надо понимать в том смысле, что он брал центральную задачу лишь в ее основных чертах, игнорируя детали. Наоборот, ту задачу, какую он считал неотложной, он ставил во всей конкретности, подходя к ней со всех сторон, продумывая детали, иногда совершенно третьестепенные, ища повода для новых и новых толчков и импульсов, напоминая, вызывая, подчеркивая, проверяя, нажимая. Но все это было подчинено тому „звену", которое он считал решающим для данного момента. Он отметал при этом не только все, что прямо или косвенно противоречило центральной задаче, но и то, что просто могло рассеять внимание, ослабить напряжение. В наиболее острые моменты он как бы становился глухим и слепым по отношению ко всему, что выходило за пределы поглощавшего его интереса. Одна уж постановка других, нейтральных, так сказать, вопросов ощущалась им, как опасность, от которой он инстинктивно отталкивался. После того, как критический этап благополучно оставался позади, Ленин не раз по тому или по другому поводу восклицал: „А ведь мы и забыли совсем сделать то-то"... „А ведь мы тут дали маху, занятые главным вопросом"... И когда ему иной раз возражали: „Да ведь этот же вопрос ставился и это самое предложение вносилось, только вы тогда и слушать не хотели".—„Да неужели?— отвечал он, — что-то я не помню", — разражаясь при этом лукавым, немножко „виноватым" смехом и делая особый, свойственный ему, жест рукою сверху вниз, который должен был означать: всех дел, видно, никак не переделаешь. Этот его „недочет" был только обо-

ротной стороной его способности к величайшей внутренней мобилизации всех сил, а именно эта способность сделала его величайшим революционером в истории.

В ленинских тезисах о мире, написанных в начале января 1918 года, говорится о необходимости „для успеха социализма в России известного промежутка времени, не менее нескольких месяцев". Сейчас эти слова кажутся совершенно непонятными: не описка ли, не идет ли тут речь о нескольких годах или о нескольких десятилетиях? Но нет, это—не описка. Можно, вероятно, найти ряд других заявлений Ленина в таком же роде. Я очень хорошо помню, как в первый период, в Смольном, Ленин на заседаниях Совнаркома неизменно повторял, что через полгода у нас будет социализм, и мы станем самым могущественным государством. Левые эсеры, и не только они одни, поднимали вопросительно и недоумевающе головы, переглядывались, но молчали. Это была система внушения. Ленин приучал всех брать отныне все вопросы в рамках социалистического строительства, и не в перспективе „конечной цели", а в перспективе сегодняшнего и завтрашнего дня. И он прибегал тут при этом крутом переходе к столь свойственному ему методу перегибания палки: вчера говорили, что социализм есть „конечная цель", а сегодня должны мыслить, говорить и действовать так, чтобы обеспечить господство социализма через несколько месяцев. Значит, это только педагогической прием? Нет, не только. Надо к педагогический настойчивости присоединить еще одно: могучий идеализм Ленина, его напряженную волю, которая на резком повороте двух эпох сжимала этапы и сокращала сроки. Он верил в то, что говорил.

И этот фантастический полугодовой срок для социализма представляет собою такую же функцию ленинского духа, как и его реалистический подход к каждой задаче сегодняшнего дня. Глубокое и неукротимое убеждение в могущественных возможностях человеческого развития, заплатить за которое можно и должно любой ценой жертв и страданий, составляло всегда главную пружину ленинского духа.

В труднейших условиях, промежду повседневных изнурительных работ, среди затруднений продовольственного и всякого иного характера, в кольце гражданской войны, Ленин с величайшей тщательностью работал над советской конституцией, скрупулезно уравновешивая в ней второстепенные и третьестепенные практические потребности государственного аппарата с принципиальными задачами пролетарской диктатуры в крестьянской стране.

Конституционная комиссия решила почему-то переработать ленинскую Декларацию Прав Трудящихся, „согласовав" ее с текстом Конституции. В приезд свой в Москву с фронта я получил от комиссии, в числе других материалов, и проект переработанной „Декларации", или, по крайней мере, части ее. С материалами я знакомился в кабинете Ленина, в присутствии его самого и Свердлова. Шла подготовка к V Съезду Советов.

— А к чему, собственно, переделывать „Декларацию"?—спросил я Свердлова, который руководил работами Конституционной комиссии.

Владимир Ильич с интересом приподнял голову.

— Да вот комиссия нашла, что в „Декларации" есть несогласованности с Конституцией и неточные формулировки,—ответил Яков Михайлович.

— По-моему это зря, — ответил я. — „Декларация“ была уже принята, стала историческим документом,— какой же смысл ее перерабатывать?

— Совершенно верно, — подхватил Владимир Ильич, —и по-моему это дело затеяно было напрасно. Пусть уж сей младенец, непричесанный и вихрастый, так и живет: каков он ни на есть, он все-таки—порождение революции... Вряд ли он станет лучше, если его послать к парикмахеру.

Свердлов попытался было „по обязанности“ защищать решение своей комиссии, но скоро согласился с нами. Я понял, что Владимир Ильич, которому приходилось не раз выступать против тех или других предложений Конституционной комиссии, не хотел поднимать борьбу по поводу редактирования „Декларации Прав“, авторство которой принадлежало ему самому. Он, однако, очень обрадовался поддержке „третьего лица“, неожиданно явившейся в последний момент. Мы сговорились втроем не менять „Декларации“, и превосходный вихрастый младенец был избавлен от парикмахерской...

Изучение советского законодательства в его развитии, с выделением в нем принципиальных моментов и поворотных вех, в связи с ходом самой революции и классовых в ней отношений, является задачей огромной важности, ибо для пролетариата других стран выводы ее могут и должны получить первостепенное практическое значение.

Сборник советских декретов представляет в известном смысле часть, и отнюдь не маловажную, полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина.

VI. ЧЕХО-СЛОВАКИ И ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ.

Весна 1918 г. была очень тяжелая. Моментами было такое чувство, что все ползет, рассыпается, не за что ухватиться, не на что опереться. С одной стороны, было совершенно очевидно, что страна загнила бы надолго, если бы не октябрьский переворот. Но, с другой стороны, весною 1918 г. невольно вставал вопрос: хватит ли у истощенной, разоренной, отчаявшейся страны жизненных соков для поддержания нового режима? Продовольствия не было. Армии не было. Государственный аппарат еле складывался. Всюду гноились заговоры. Чехо-словацкий корпус держал себя на нашей территории как самостоятельная держава. Мы ничего, или почти ничего, не могли ему противопоставить.

Однажды, в очень тяжелые часы 1918 г. Владимир Ильич мне рассказывал:

— Сегодня у меня была делегация рабочих. И вот, один из них, на мои слова *), отвечает: видно и вы, т. Ленин, берете сторону капиталистов. Знаете: это в первый раз я услышал такие слова. Я, сознаюсь, даже растерялся, не зная, что ответить. Если это—не злостный тип, не меньшевик, то это—тревожный симптом.

*) К сожалению, я никак не могу вспомнить вопроса, по поводу которого явилась делегация.

Передавая этот эпизод, Ленин казался мне более огорченным и встревоженным, чем в тех случаях, когда приходили, позже, с фронтов черные вести о падении Казани или о непосредственной угрозе Петербургу. И это понятно: Казань и даже Петербург можно было потерять и вернуть, а доверие рабочих есть основной капитал партии.

— У меня такое впечатление,—сказал я в те дни Владимиру Ильичу,—что страна, после перенесенных ею тягчайших болезней, нуждается сейчас в усиленном питании, спокойствии, уходе, чтобы выжить и оправиться; доканать ее можно сейчас небольшим толчком.

— Такое же впечатление и у меня,— ответил Владимир Ильич.—Ужасающее худосочие! Сейчас опасен каждый лишний толчек.

Между тем история с чехо-словаками грозила сыграть роль такого рокового толчка. Чехо-словацкий корпус врезался в рыхлое тело юго-восточной России, не встречая противодействия и обрастая эсерами и другими деятелями еще более белых мастей. Хотя у власти везде уже стояли большевики, но рыхлость провинции была еще очень велика. И немудрено. По настоящему Октябрьская революция была проделана только в Петрограде и в Москве. В большинстве провинциальных городов Октябрьская революция, как и февральская, совершались по телеграфу. Одни приходили, другие уходили потому, что это уже произошло в столице. Рыхлость общественной среды, отсутствие сопротивления вчерашних властителей имели своим последствием рыхлость и на стороне революции. Появление на сцене чехо-словацких частей изменило обстановку, сперва против нас, но в конечном счете — в нашу

пользу. Белые получили военный стержень для кристаллизации. В ответ началась настоящая революционная кристаллизация красных. Можно сказать, что только с появлением чехо-словаков Поволжье совершило свою Октябрьскую революцию. Однако это произошло не сразу.

3 июля Владимир Ильич позвонил по телефону ко мне в Военный Комиссариат.

— Знаете, что случилось?—спросил он тем глуховатым голосом, который означал волнение.

— Нет, а что?

— Левые эсеры бросили бомбу в Мирбаха; говорят, тяжело ранен. Приезжайте в Кремль, надо посоветоваться.

Через несколько минут я был в кабинете Ленина. Он изложил мне фактическую сторону, каждый раз справляясь по телефону о новых подробностях.

— Дела!—сказал я, переваривая не совсем обычные новости.—На монотонность жизни мы пожаловаться никак не можем.

— Д-да,—ответил Ленин с тревожным смехом.— Вот оно—очередное чудовищное колебнутие мелкого буржуа...—Он так иронически и сказал: колебнутие.—Это то самое состояние, о котором Энгельс выразился: „der rabiat gewordene Kleinbürger“ (закусивший удила мелкий буржуа).

Тут же спешные разговоры по телефону—короткие вопросы и ответы—с Наркоминделом, с В.Ч.К. и с др. учреждениями. Мысль Ленина, как всегда в критические моменты, работала одновременно в двух плоскостях: марксист обогащал свой исторический опыт, с интересом оценивая новый выверт—„колебнутие“—мещанского радикализма; в то же время вождь революции

неутомимо натягивал нити информации и намечал практические шаги. Шли сведения о восстании в войсках В.Ч.К.

— Как бы, однако, левые эсеры не оказались той вишневой косточкой, о которую нам суждено споткнуться...

— Я как раз об этом думал,— ответил Ленин,— ведь в том и состоит судьба колебнувшегося мелкого буржуа, чтобы послужить вишневой косточкой для нужд белогвардейца... Сейчас надо во что бы то ни стало повлиять на характер немецкого донесения в Берлин. Повод для военного вмешательства предостаточный, особенно, если принять во внимание, что Мирбах, вероятно, все время доносил, что мы слабы, и что не хватает лишь толчка...

Скоро прибыл Свердлов, такой же, как всегда.

— Ну что,— сказал он мне, здороваясь с усмешкой,— придется нам, видно, снова от Совнаркома перейти к ревкому.

Ленин тем временем продолжал собирать справки. Не помню, в этот ли момент или позже получилось сообщение, что Мирбах скончался. Нужно было ехать в посольство выражать „соболезнование". Решено было, что поедут Ленин, Свердлов и, кажется, Чичерин. Возник вопрос обо мне. После летучего обмена мнений меня освободили.

— Как еще там скажешь,— говорил Владимир Ильич, покачивая головой.— Я уж с Радеком об этом сговаривался. Хотел сказать „Mitleid", а надо сказать „Beileid".

Он чуть-чуть засмеялся, вполтона, оделся и твердо сказал Свердлову: „Идем". Лицо его изменилось, стало каменисто-серым. Недешево Ильичу давалась эта

поездка в гогенцоллернское посольство с выражением соболезнования по поводу гибели графа Мирбаха. В смысле внутренних переживаний это был, вероятно, один из самых тяжких моментов его жизни.

В такие дни познаются люди. Свердлов был поистине несравненен: уверенный, мужественный, твердый, находчивый,—лучший тип большевика. Ленин вполне узнал и оценил Свердлова именно в эти тяжкие месяцы. Сколько раз бывало Владимир Ильич звонит Свердлову, чтоб предложить принять ту или другую спешную меру и в большинстве случаев получает ответ: „уже!“. Это значило, что мера уже принята. Мы часто шутили на эту тему, говоря: „А у Свердлова, наверно, уже!“.

— А ведь мы были вначале против его введения в Центральный Комитет,—рассказывал как-то Ленин,—до какой степени недооценивали человека! На этот счет были изрядные споры, но снизу нас на съезде поправили и оказались целиком правы *)...

Лево эсеровский мятеж лишил нас политического попутчика и союзника, но в последнем счете не ослабил, а укрепил нас. Партия наша сгрудилась плотнее. В учреждениях, в армии поднялось значение коммунистических ячеек. Линия правительства стала тверже.

---

*) Кстати: Свердлова почему-то неизменно называют первым председателем по-октябрьского В.Ц.И.К. Это не верно. Первым председателем был, хотя и недолго, т. Каменев. Свердлов заменил его по инициативе Ленина, в эпоху обострения внутри-партийной борьбы, связанной с попытками достигнуть соглашения с социалистическими партиями. В примечаниях к XIV тому „Сочинений“ Ленина говорится, будто замена т. Каменева Свердловым вызвана была отбытием первого на переговоры в Брест-Литовск. Это объяснение неправильно. Переизбрание вызвано было, как уже сказано, обострением внутри-партийной борьбы. Я помню это тем тверже, что мне, по поручению Ц.К., пришлось вносить во фракцию В.Ц.И.К. предложение об избрании Свердлова председателем.

В том же направлении влияло несомненно и чехословацкое восстание, которое выбило партию из того угнетенного состояния, в котором она находилась, несомненно, со времени Брест-Литовского мира. Начался период партийных мобилизаций на восточный фронт. Первую группу, в состав которой входили еще левые социалисты - революционеры, мы отправляли с Владимиром Ильичем совместно. Тут намечалась, еще в довольно смутном виде, организация будущих политотделов. Однако сведения с Волги продолжали поступать неблагоприятные. Измена Муравьева и восстание левых эсеров внесли новое временное замешательство на восточном фронте. Опасность сразу обострилась. Вот тут и начался радикальный перелом.

— Надо мобилизовать всех и все и двинуть на фронт,—говорил Ленин. — Надо снять из завесы все сколько-нибудь боеспособные части и перебросить на Волгу.

Напоминаем, что „завесой" назывался тонкий кордон войск, выставленных на западе, против района немецкой оккупации.

— А немцы?—отвечали Ленину.

— Немцы не двинутся,—им не до того, да они и сами заинтересованы в том, чтобы мы справились с чехо-словаками.

Этот план был принят, и он доставил сырой материал для будущей 5-й армии. Тогда же решена была моя поездка на Волгу. Я занялся формированием поезда, что в те времена было не просто. Владимир Ильич и тут входил во все, писал мне записки, телефонировал без конца.

— Есть ли у вас сильный автомобиль? Возьмите из кремлевского гаража.

И еще через полчаса:

— А берете ли с собой аэроплан? Нужно бы взять на всякий случай.

— Аэропланы будут при армии, — отвечал я, — и, если понадобится, я воспользуюсь.

Еще через полчаса:

— А я все-таки думаю, что вам нужно бы иметь аэроплан при поезде,—мало ли что может случиться.

И т. д., и пр.

Наспех сколоченные полки и отряды, преимущественно из разложившихся солдат старой армии, как известно, весьма плачевно рассыпались при первом столкновении с чехо-словаками.

— Чтобы преодолеть эту гибельную неустойчивость, нам необходимы крепкие заградительные отряды из коммунистов и вообще боевиков,—говорил я Ленину перед отъездом на восток.—Надо заставить сражаться. Если ждать, пока мужик расчухается, пожалуй, поздно будет.

— Конечно, это правильно,—отвечал он,—только опасаюсь, что и заградительные отряды не проявят должной твердости. Добёр русский человек, на решительные меры революционного террора его не хватает. Но попытаться необходимо.

Весть о покушении на Ленина и об убийстве Урицкого застигла меня в Свияжске. В эти трагические дни революция переживала внутренний перелом. Ее „доброта“ отходила от нее. Партийный булат получал свой окончательный закал. Возрастала решимость, а где нужно — и беспощадность. На фронте политические отделы, рука-об-руку с заградительными отрядами и трибуналами, вправляли костяк в рыхлое тело молодой армии. Перемена не замедлила сказаться. Мы вернули

Казань и Симбирск. В Казани я получил от выздоравливавшего после покушения Ленина телеграмму по поводу первых побед на Волге.

Побывав вскоре после того в Москве, я вместе со Свердловым проехал в Горки к Владимиру Ильичу, который быстро поправлялся, но еще не возвращался в Москву к работе. Мы застали его в прекрасном настроении. Он подробно расспрашивал про организацию армии, ее настроения, роль коммунистов, рост дисциплины и весело повторял: „Вот это хорошо, вот это отлично. Укрепление армии немедленно же скажется на всей стране — ростом дисциплины, ростом ответственности“... С осенних месяцев действительно произошла большая перемена. Того похожего на бледную немочь состояния, которое определилось в весенние месяцы, теперь уже не чувствовалось. Что-то сдвинулось, что-то окрепло, и замечательно, что на этот раз революцию спасла не новая передышка, а, наоборот, новая острая опасность, которая вскрыла в пролетариате подспудные источники революционной энергии. Когда мы садились со Свердловым в автомобиль, Ленин, веселый и жизнерадостный, стоял на балконе. Таким веселым я его помню еще только 25 октября, когда он узнал в Смольном о первых военных успехах восстания.

Левых эсеров мы политически ликвидировали. Волгу очищали. Ленин выздоравливал после ран. Революция крепла и мужала.

VII. ЛЕНИН НА ТРИБУНЕ.

После Октября фотографы снимали Ленина не раз, точно также и кинематографщики. Голос его запечатлен на пластинках фонографа. Речи застенографированы и напечатаны. Таким образом все элементы Владимира Ильича на-лицо. Но только элементы. А живая личность—в их неповторном и всегда динамическом сочетании.

Когда я мысленно пытаюсь свежим глазом и свежим ухом, как бы в первый раз, увидеть и услышать Ленина на трибуне, я вижу крепкую и внутренне эластическую фигуру невысокого роста и слышу ровный, плавный, очень быстрый, чуть картавый. непрерывный, почти без пауз и на первых порах без особой интонации голос.

Первые фразы обычно общи, тон нащупывающий, вся фигура как бы не нашла еще своего равновесия, жест не оформлен, взгляд ушел в себя, в лице скорее угрюмость и как бы даже досада—мысль ищет подхода к аудитории. Этот вступительный период длится то больше, то меньше—смотря по аудитории, по теме, по настроению оратора. Но вот он попал на зарубку. Тема начинает вырисовываться. Оратор наклоняет верхнюю часть туловища вперед, заложив большие пальцы рук за вырезы жилета. И от этого двойного

движения сразу выступают вперед голова и руки. Голова сама по себе не кажется большой на этом невысоком, но крепком, ладно сколоченном, ритмическом теле. Но огромными кажутся на голове лоб и голые выпуклины черепа. Руки очень подвижны, однако без суетливости или нервозности. Кисть широкая, коротколалая, „плебейская", крепкая. В ней, в этой кисти, есть те же черты надежности и мужественного добродушия, что и во всей фигуре. Чтоб дать разглядеть это, нужно, однако, оратору осветиться изнутри, разгадав хитрость противника или самому с успехом заманив его в ловушку. Тогда из-под могучего лобно-черепного навеса выступают ленинские глаза, которые чуть-чуть переданы на одной счастливой фотографии 1919 г. Даже безразличный слушатель, поймав впервые этот взор, настораживался и ждал, что будет дальше. Угловатые скулы освещались и смягчались в такие моменты крепко умной снисходительностью, за которой чувствовалось большое знание людей, отношений, обстановки—до самой что ни на есть глубокой подоплеки. Нижняя часть лица с рыжевато-сероватой растительностью как бы оставалась в тени. Голос смягчался, получал большую гибкость и—моментами—лукавую вкрадчивость.

Но вот оратор приводит предполагаемое возражение от лица противника или злобную цитату из статьи врага. Прежде чем он успел разобрать враждебную мысль, он дает вам понять, что возражение неосновательно, поверхностно или фальшиво. Он высвобождает пальцы из жилетных вырезов, откидывает корпус слегка назад, отступает мелкими шагами, как бы для того, чтобы освободить себе место для разгона, и—то иронически, то с видом отчаяния—пожимает крутыми плечами и

разводит руками, выразительно отставив большие пальцы. Осуждение противника, осмеяние или опозорение его—смотря по противнику и по случаю—всегда предшествует у него опровержению. Слушатель как бы предуведомляется заранее, какого рода доказательств ему надо ждать и на какой тон настроить свою мысль. После этого открывается логическое наступление. Левая рука попадает либо снова за жилетный вырез, либо, чаще, в карман брюк. Правая следует логике мысли и отмечает ее ритм. В нужные моменты левая приходит на помощь. Оратор устремляется к аудитории, доходит до края эстрады, склоняется вперед и округлыми движениями рук работает над собственным словесным материалом. Это значит, что дело дошло до центральной мысли, до главнейшего пункта всей речи.

Если в аудитории есть противники, навстречу оратору поднимаются время от времени критические или враждебные восклицания. В девяти случаях из десяти они остаются без ответа. Оратор скажет то, что ему нужно, для кого нужно, и так, как он считает нужным. Отклоняться в сторону для случайных возражений он не любит. Беглая находчивость не свойственна его сосредоточенности. Только голос его, после враждебных восклицаний, становится жестче, речь компактнее и напористее, мысль острее, жесты резче. Он подхватывает враждебный возглас с места только в том случае, если это отвечает общему ходу его мысли и может помочь ему скорее добраться до нужного вывода. Тут его ответы бывают совершенно неожиданны—своей убийственной простотой. Он на-чисто обнажает ситуацию там, где, согласно ожиданиям, он должен был бы маскировать ее. Это испытывали на себе не раз мень-

шевики в первый период революции, когда обвинения в нарушениях демократии сохраняли еще всю свою свежесть. „Наши газеты закрыты!“ — „Конечно, но, к сожалению, не все еще! Скоро будут закрыты все. (Бурные аплодисменты.) Диктатура пролетариата уничтожит в корне эту позорную продажу буржуазного опиума“. (Бурные аплодисменты.) Оратор выпрямился. Обе руки в карманах. Тут нет и намека на позу, и в голосе нет ораторских модуляций,—зато есть во всей фигуре, и в посадке головы, и в сжатых губах, и в скулах, и в чуть-чуть сиплом тембре несокрушимая уверенность в своей правоте и в своей правде. „Если хотите драться, то давайте драться, как следует быть“.

Когда оратор бьет не по врагу, а по своим, то это чувствуется и в жесте, и в тоне. Самая неистовая атака сохраняет в таком случае характер „урезонивания“. Иногда голос оратора срывается на высокой ноте: это—когда он стремительно обличает кого-нибудь из своих, устыжает, доказывает, что оппонент ровнешенько ничего в вопросе не смыслит и в обоснование своих возражений ничего, ну так-таки ничегошеньки не привел. Вот на этих „ровнешенько“ и „ничегошеньки“ голос иногда доходит до фальцета и срыва, и от этого сердитейшая тирада принимает неожиданно оттенок добродушия.

Оратор продумал заранее свою мысль до конца, до последнего практического вывода,—мысль, но не изложение, не форму, за исключением разве наиболее сжатых, метких, сочных выражений и словечек, которые входят затем в политическую жизнь партии и страны звонкой монетой обращения. Конструкция фраз обычно громоздкая, одно предложение напластовывается

на другое или, наоборот, забирается внутрь его. Для стенографов такая конструкция — тяжкое испытание, а вслед за ними—и для редакторов. Но через эти громоздкие фразы напряженная и властная мысль прокладывает себе крепкую, надежную дорогу.

Верно ли, однако, что это говорит глубочайше образованный марксист, теоретик-экономист, человек с огромной эрудицией? Ведь вот кажется, по крайней мере моментами, что выступает какой-то необыкновенный самоучка, который дошел до всего этого своим умом, как следует быть все это обмозговал, по-своему, без научного аппарата, без научной терминологии, и по-своему же все это излагает. Откуда это? Оттуда, что оратор продумал вопрос не только за себя, но и за массу, провел свою мысль через ее опыт, на-чисто освобождая изложение от теоретических лесов, которыми сам пользовался при первом подходе к вопросу.

Иногда, впрочем, оратор слишком стремительно взбегает по лестнице своих мыслей, перепрыгивая через две-три ступени сразу: это когда вывод ему слишком ясен и практически слишком неотложен, и нужно как можно скорее подвести к нему слушателей. Но вот он почувствовал, что аудитория не поспевает за ним, что связь со слушателями разомкнулась. Тогда он сразу берет себя в руки, спускается одним прыжком вниз и начинает свое восхождение заново, но уже более спокойным и соразмеренным шагом. Самый голос его становится иным, освобождается от излишней напряженности, получает обволакивающую убедительность. Конструкция речи от этого возврата вспять, конечно, страдает. Но разве речь существует для конструкции? Разве в речи ценна какая-либо другая логика, кроме логики, понуждающей к действию?

И когда оратор вторично добирается до вывода, приведя на этот раз к нему своих слушателей, не растеряв в пути никого, в зале физически ощущается та благодарная радость, в которую разрешается удовлетворенное напряжение коллективной мысли. Теперь остается пристукнуть еще раза два-три по выводу,—для крепости, дать ему простое, яркое и образное выражение, для памяти, а затем можно позволить и себе и другим передышку, пошутить и посмеяться, чтобы коллективная мысль получше всосала в себя тем временем новое завоевание.

Ораторский юмор Ленина так же прост, как и все прочие его приемы, если здесь можно говорить о приемах. Ни самодовлеющего остроумия, ни тем более острословия в речах Ленина нет, а есть шутка, сочная, доступная массе, в подлинном смысле народная. Если в политической обстановке нет ничего слишком тревожного, если аудитория в большинстве своем „своя", то оратор не прочь мимоходом „побалагурить". Аудитория благодарно воспринимает лукаво-простецкую прибаутку, добродушно-безжалостную характеристику, чувствуя, что и это не так себе, не для одного лишь красного словца, а все для той же цели.

Когда оратор прибегает к шутке, тогда больше выступает нижняя часть лица, особенно рот, умеющий заразительно смеяться. Черты лба и черепа как бы смягчаются, глаз, переставая сверлить, весело светится, усиливается картавость, напряженность мужественной мысли смягчается жизнерадостностью и человечностью.

В речах Ленина, как и во всей его работе, главной чертой остается целеустремленность. Оратор не речь строит, а ведет к определенному действенному выводу

Он подходит к своим слушателям по-разному: и разъясняет, и убеждает, и срамит, и шутит, и снова убеждает, и снова разъясняет. То, что объединяет его речь, это не формальный план, а ясная, строго для сегодняшнего дня намеченная практическая цель, которая должна занозой войти в сознание аудитории. Ей подчинен и его юмор. Шутка его утилитарна. Яркое словечко имеет свое практическое назначение: подстегнуть одних, попридержать других. Тут и „хвостизм", и „передышка", и „смычка", и „драчка", и „комчванство", и десятки других, не столь увековеченных. Прежде чем добраться до такого словечка, оратор описывает несколько кругов, как бы отыскивая нужную точку. Найдя, наставляет гвоздь и, примерив, как следует быть, глазом, наносит с размаху удар молотком по шляпке, и раз, и другой, и десятый,— пока гвоздь не войдет, как следует быть, так что его очень трудно бывает выдернуть, когда уж минует в нем надобность. Тогда Ленину же придется, с прибауткой, постукать по этому гвоздю справа и слева, чтобы расшатать его и, выдернув, бросить в архивную ломь—к великому огорчению тех, которые к гвоздю привыкли.

Но вот речь клонится к концу. Итоги подведены, выводы закреплены. Оратор имеет вид работника, который умаялся, но дело свое выполнил. По голому черепу, на котором выступили крупинки пота, он проводит время от времени рукой. Голос звучит без напряжения, как догорает костер. Можно кончать. Но не надо ждать того венчающего речь подъемного финала, без которого, казалось бы, нельзя сойти с трибуны. Другим нельзя, а Ленину можно. У него нет ораторского завершения речи: он кончает работу и ставит точку. „Если поймем, если сделаем, тогда побе-

дим наверняка“—такова нередкая заключительная фраза. Или: „Вот к чему нужно стремиться—не на словах, а на деле“. А иногда и того проще: „Вот все, что я хотел вам сказать“—и только. И такой конец, полностью отвечающий природе ленинского красноречия и природе самого Ленина, нисколько не расхолаживает аудиторию. Наоборот, как раз после такого „неэффектного“, „серого“ заключения она как бы заново, одной вспышкой сознания охватывает все, что Ленин дал ей в своей речи, и разражается бурными благодарными восторженными аплодисментами.

Но уже подхватив кое-как свои бумажки, быстро покидает кафедру Ленин, чтобы избегнуть неизбежного. Голова его слегка втянута в плечи, подбородком вниз, глаза скрылись под брови, усы топорщатся почти сердито на недовольно приподнятой верхней губе. Рокот рукоплесканий растет, кидая волну на волну. Да здра... Ленин... вождь... Ильич... Вот мелькает в свете электрических ламп неповторимое человеческое темя, со всех сторон захлестываемое необузданными волнами. И когда, казалось, вихрь восторга достиг уже высшего неистовства — вдруг через рев и гул и плеск чей-то молодой, напряженный, счастливый и страстный голос, как сирена, прорезывающий бурю: Да здравствует Ильич! И откуда-то из самых глубоких и трепетных глубин солидарности, любви, энтузиазма поднимается в ответ уже грозным циклоном общий безраздельный потрясающий своды вопль-клич: Да здравствует Ленин!

VIII. ФИЛИСТЕР О РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ.

В одном из многих сборников, посвященных Ленину, я наткнулся на статью английского писателя Уэльса под заглавием „Кремлевский мечтатель". Редакция сборника отмечает в примечании, что „даже такие передовые люди, как Уэльс, не поняли смысла происходящей в России пролетарской революции". Казалось бы, это еще недостаточная причина для помещения статьи Уэльса в сборнике, посвященном вождю этой революции. Но не стоит, пожалуй, к этому так уж придираться: по крайней мере, я лично прочитал несколько страничек Уэльса не без интереса, в чем, однако, автор их, как видно будет из дальнейшего, совершенно не повинен.

Живо представляется тот момент, когда Уэльс посетил Москву. Это была голодная и холодная зима 1920—1921 года. В атмосфере—тревожное предчувствие весенних осложнений. Голодная Москва в сугробах. Хозяйственная политика накануне крутого перелома. Помню очень хорошо то впечатление, которое вынес Владимир Ильич из беседы с Уэльсом: „Ну и мещанин! Ну и филистер!"—повторял он, приподымая над столом обе руки, смеясь и вздыхая тем смехом и тем вздохом, какие у него характеризовали некоторый внутренний стыд за другого человека. „Ах,

какой филистер“, — повторял он, заново переживая свою беседу. Этот наш разговор происходил перед открытием заседания Политбюро и ограничился, в сущности, повторением только что приведенной краткой характеристики Уэльса. Но и этого было за-глаза достаточно. Я, правда, мало читал Уэльса и совсем не встречал его. Но английский салонный социалист, фабианец, беллетрист на фантастические и утопические темы, приехавший взглянуть на коммунистические эксперименты, — этот образ я себе достаточно ясно представлял. А восклицание Ленина и особенно тон этого восклицания без труда доделали остальное. И вот теперь статья Уэльса, неисповедимыми путями попавшая в ленинский сборник, не только оживила в моей памяти ленинское восклицание, но и наполнила его живым содержанием. Ибо если Ленина в статье Уэльса о Ленине нет почти и следа, зато сам Уэльс в ней, как на ладони.

Начнем хотя бы со вступительной жалобы Уэльса: ему пришлось, видите ли, долго хлопотать, чтобы добиться свидания с Лениным, что его (Уэльса) „чрезвычайно раздражало“. Почему собственно? Разве Ленин вызывал Уэльса? обязывался принять его? или разве у Ленина был такой избыток времени? Наоборот, в те архи-тяжелые дни каждая минута его времени была заполнена; ему очень не легко было выкроить час на прием Уэльса. Понять это не трудно было бы и иностранцу. Но вся беда в том, что Уэльс, в качестве знатного иностранца и, при всем своем „социализме“, консервативнейшего англичанина империалистской складки, насквозь проникнут убеждением, что оказывает, в сущности, своим посещением великую честь этой варварской стране и ее вождю.

Вся статья Уэльса, от первой строки до последней, воняет этим немотивированным самомнением.

Характеристика Ленина начинается, как и следовало ждать, с откровения. Ленин, видите ли, „вовсе не писатель“. Кому же в самом деле решить этот вопрос, как не профессиональному писателю Уэльсу? „Короткие резкие памфлеты, выходящие в Москве за его (Ленина) подписью (!), полные неправильных представлений о психологии западных рабочих... очень мало выражают истинную сущность мышления Ленина“. Почтенному джентльмену, конечно, не ведомо, что у Ленина есть ряд капитальнейших работ по аграрному вопросу, теоретической экономии, социологии, философии. Уэльс знает одни „короткие резкие памфлеты“, да и то отмечает, что они лишь выходят „за подписью Ленина“, т.-е. намекает на то, что пишут их другие. Истинная же „сущность мышления Ленина“ раскрывается не в десятках написанных им томов, а в той часовой беседе, к которой так великодушно снизошел просвещеннейший гость из Великобритании.

От Уэльса можно бы ждать, по крайней мере, интересной зарисовки внешнего облика Ленина, и ради одной хорошо подмеченной черточки мы готовы были бы простить ему все его фабианские*) пошлости. Но в статье нет и этого. „У Ленина приятное смуглое (!) лицо с постоянно меняющимся выражением и живая улыбка“... „Ленин очень мало похож на свои фотографии“... „Он немного жестикулировал во время разговора“... Дальше этих банальностей набившего руку заурядрепортера капиталистической газеты Уэльс

*) Фабианское общество объединяет в Англии интеллигентов-социалистов и названо так ими самими в честь Фабия Кунктатора (медлителя).

не пошел. Впрочем, он еще открыл, что лоб Ленина напоминает удлиненный и слегка несимметричный череп Артура Бальфура, и что Ленин в целом— „маленький человечек: когда он сидит на краю стула, его ноги едва касаются пола“. Что касается черепа Артура Бальфура, то мы ничего об этом почтенном предмете сказать не можем и охотно верим, что он удлинен. Но во всем остальном—какая неприличная неряшливость. Ленин был рыжеватым блондином,— назвать его смуглым никак нельзя. Роста он был среднего, может быть, даже слегка ниже среднего; но что он производил впечатление „маленького человечка“, и что он еле достигал ногами пола—это могло показаться только Уэльсу, который приехал с самочувствием цивилизованного Гулливера в страну северных коммунистических лилипутов. Еще Уэльс заметил, что Ленин при паузах в разговоре имеет привычку приподымать пальцем веко: „может быть, эта привычка,— догадывается проницательный писатель,—происходит от какого-нибудь дефекта зрения“. Мы знаем этот жест. Он наблюдался тогда, когда Ленин имел перед собою чужого и чуждого ему человека и быстро вскидывал на него взор промежду пальцев руки, прислоненной козырьком ко лбу. „Дефект“ ленинского зрения состоял в том, что он видел при этом собеседника насквозь, видел его напыщенное самодовольство, его ограниченность, его цивилизованное чванство и его цивилизованное невежество и, вобрав в свое сознание этот образ, долго затем покачивал головой и приговаривал: „Какой филистер! Какой чудовищный мещанин!“.

При беседе присутствовал т. Ротштейн, и Уэльс делает мимоходом открытие, что присутствие его „ха-

рактерно для современного положения дел в России“: Ротштейн, видите ли, контролирует Ленина от лица Наркоминдела, ввиду чрезмерной искренности Ленина и его мечтательской неосторожности. Что сказать по поводу этого неоценимого наблюдения? Входя в Кремль, Уэльс принес в своем сознании весь мусор международной буржуазной информации и своим проницательным глазом—о, разумеется, без всякого „дефекта“!—открыл в кабинете Ленина то, что выудил заранее из Times'а или из другого резервуара благочестивых и прилизанных сплетен.

Но в чем же все-таки состоял разговор? На этот счет мы узнаем от Уэльса довольно-таки безнадежные общие места, которые показывают, как бедно и жалко ленинская мысль преломляется через иные черепа, в симметричности которых мы не видим, впрочем, основания сомневаться.

Уэльс пришел с мыслью, что „ему придется спорить с убежденным доктринером-марксистом, но ничего подобного на самом деле не оказалось“. Это нас удивить не может. Мы уже знаем, что „сущность мышления Ленина“ раскрылась не в его более чем тридцатилетней политической и писательской деятельности, а в его беседе с английским обывателем. „Мне говорили,—продолжает Уэльс,—что Ленин любит поучать, но со мною он этого не делал“. Где же, в самом деле, поучать джентльмена, столь преисполненного высокой самооценки? Что Ленин любил поучать—вообще не верно. Верно то, что Ленин умел говорить очень поучительно. Но он это делал только тогда, когда считал, что его собеседник способен чему-либо научиться. В таких случаях он поистине не щадил ни времени, ни усилий. Но насчет великолепного

Гулливера, попавшего милостью судьбы в кабинет „маленького человечка", у Ленина должно было уже после 2—3 минут беседы сложиться несокрушимое убеждение, примерно в духе надписи над входом в дантовский ад: „оставь надежду навсегда".

Разговор зашел о больших городах. Уэльсу в России впервые, как он заявляет, пришла в голову мысль, что внешность города определяется торговлею в магазинах и на рынках. Он поделился этим открытием со своими собеседниками. Ленин „признал", что города при коммунизме значительно уменьшатся в своих размерах, Уэльс „указал" Ленину, что обновление городов потребует гиганской работы, и что многие огромные здания Петербурга сохранят лишь значение исторических памятников. Ленин согласился и с этим несравненным общим местом Уэльса. „Мне кажется,—прибавляет последний,—ему приятно было говорить с человеком, понимающим те неизбежные последствия коллективизма, которые ускользают от понимания многих из его собственных последователей". Вот вам готовый масштаб для измерения уровня Уэльса! Он считает плодом величайшей своей проницательности то открытие, что при коммунизме нынешние концентрированные городские нагромождения исчезнут, и что многие из нынешних капиталистических архитектурных чудовищ сохранят лишь значение исторических памятников (если не заслужат чести быть разрушенными). Где же, конечно, бедным коммунистам („утомительным фанатикам классовой борьбы", как их именует Уэльс) додуматься до таких открытий, давно, впрочем, разъясненных в популярном комментарии к старой программе германской социал-демократии. Мы уж не говорим, что обо всем этом знали утописты классики.

Теперь вам, надеюсь, понятно, почему Уэльс „вовсе не заметил“ во время разговора того ленинского смеха, о котором ему так много говорили: Ленину было не до смеха. Я опасаюсь даже, что челюсти его сводило рефлексом, прямо противоположным смеху. Но здесь Ильичу служила необходимую службу его подвижная и умная рука, которая всегда умела вовремя скрыть от слишком занятого собою собеседника рефлекс неучтивой зевоты.

Как мы уже слышали, Ленин Уэльса не поучал— по причинам, которые мы считаем вполне уважительными. Зато Уэльс тем настойчивее поучал Ленина. Он внушал ему ту совершенно новую мысль, что для успеха социализма „нужно перестраивать не одну только материальную сторону жизни, а и психологию всего народа“. Он указал Ленину, что „русские по природе своей индивидуалисты и торговцы“. Он разъяснял ему, что коммунизм „чересчур спешит“ и разрушает прежде, чем может что-либо выстроить и пр., в том же духе. „Это привело нас,—рассказывает Уэльс,— к основному пункту расхождения между нами, к различию между эволюционным коллективизмом и марксизмом“. Под эволюционным коллективизмом надо понимать фабианское варево из либерализма, филантропии, экономного социального законодательства и воскресных размышлений о лучшем будущем. Сам Уэльс существо своего эволюционного коллективизма формулирует так: „Я верю в то, что путем планомерной системы воспитания общества существующий капиталистический строй может цивилизоваться и превратиться в коллективистический“. Сам Уэльс не поясняет, кто собственно и над кем будет проводить „планомерную систему воспитания“: лорды ли с удли-

ненными черепами над английским пролетариатом, или же, наоборот, пролетариат пройдется по черепам лордов? О нет, все что угодно, только не это последнее. Для чего же существуют на свете просвещенные фабианцы, люди мысли, бескорыстного воображения, джентльмены и лэди, мистер Уэльс и мистрисс Сноуден, как не для того, чтобы путем планомерного и длительного извержения того, что скрывается под их собственными черепами, цивилизовать капиталистическое общество и превратить его в коллективистическое с такой разумной и счастливой постепенностью, что даже великобританская королевская династия совершенно не заметит этого перехода?

Все это Уэльс излагал Ленину и все это Ленин выслушивал. „Для меня,—милостиво замечает Уэльс,—было прямо отдыхом (!) поговорить с этим необыкновенным маленьким человеком“. А для Ленина?—о, многотерпеливый Ильич! Про себя он, вероятно, произносил некоторые очень выразительные и сочные русские слова. Он не переводил их вслух на английский язык не только потому, что столь далеко не простирался, вероятно, его английский словарь, но и по соображениям вежливости. Ильич был очень вежлив. Но он не мог ограничиться и вежливым молчанием. „Он был принужден,—рассказывает Уэльс,—возражать мне, говоря, что современный капитализм неизлечимо жаден и расточителен, и что научить его ничему нельзя“. Ленин сослался на ряд фактов, заключающихся, между прочим, в новой книге Моней: капитализм разрушил английские национальные верфи, не позволил разумно эксплоатировать угольные копи и пр. Ильич знал язык фактов и цифр.

„Признаюсь,—неожиданно заключает г. Уэльс,—мне было очень трудно с ним спорить“. Что это значит? Не начало ли капитуляции эволюционного коллективизма перед логикой марксизма? Нет, нет. „Оставь надежду навсегда“. Эта неожиданная на первый взгляд фраза отнюдь не случайна, она входит в систему, она имеет строго выдержанный фабианский, эволюционный, педагогический характер. Она рассчитана на английских капиталистов, банкиров, лордов и их министров. Уэльс говорит им: видите, вы поступаете так дурно, так разрушительно, так своекорыстно, что мне в спорах с кремлевским мечтателем трудно бывает защитить принцип моего эволюционного коллективизма. Образумьтесь, совершайте еженедельные фабианские омовения, цивилизуйтесь, шествуйте по пути прогресса. Таким образом унылое признание Уэльса не есть начало самокритики, а лишь продолжение воспитательной работы над тем самым капиталистическим обществом, которое столь усовершенствованным, морализированным и фабианизированным вышло из империалистской войны и Версальского мира.

Не без покровительственного сочувствия Уэльс замечает о Ленине: „его вера в свое дело неограниченна“. Против этого спорить не приходится. Запас веры в свое дело у Ленина был достаточен. Что верно, то верно. Этот запас веры давал ему, между прочим, терпение беседовать в те глухие месяцы блокады с каждым иностранцем, который способен был служить хотя бы и кривой связью России с Западом. Такова беседа Ленина с Уэльсом. Совсем, совсем иначе говорил он с английскими рабочими, приходившими к нему. С ними у него было живое общение. Он и

учился и учил. А с Уэльсом беседа по существу имела полу-вынужденный дипломатический характер. „Наш разговор кончился неопределенно“,—заключает автор. Другими словами, партия между эволюционным коллективизмом и марксизмом закончилась на этот раз в ничью. Уэльс уехал в Великобританию, а Ленин остался в Кремле. Уэльс написал для буржуазной публики фатоватую корреспонденцию, а Ленин, покачивая головой, повторял: „Вот мещанин! Ай-я-яй, какой филистер!“.

* * *

Пожалуй, могут спросить, почему и зачем собственно я остановился теперь, почти четыре года спустя, на столь незначительной статье Уэльса. То обстоятельство, что статья его воспроизведена в одном из сборников, посвященных смерти Ленина, конечно, не основание. Недостаточным оправданием служит и то, что эти строки писались мною в Сухуме, во время лечения. Но у меня есть более серьезные причины. Сейчас ведь в Англии у власти стоит партия Уэльса, руководимая просвещенными представителями эволюционного коллективизма. И мне показалось, — думаю, не вполне безосновательно,—что посвященные Ленину строки Уэльса, может быть, лучше, чем многое другое, раскрывают нам душу руководящего слоя английской рабочей партии: в конце концов, Уэльс не худший среди них. Как эти люди убийственно отстали, нагруженные тяжелым свинцом буржуазных предрассудков! Их высокомерие — запоздалый рефлекс великой исторической роли английской буржуазии — не позволяет им вдуматься, как следует быть, в жизнь других народов, в новые идейные явления, в исто-

рический процесс, который перекатывается через их головы. Ограниченные рутинеры, эмпирики в шорах буржуазного общественного мнения, эти господа развозят по всему миру себя и свои предрассудки и умудряются вокруг себя ничего не замечать, кроме самих себя. Ленин жил во всех странах Европы, овладевал чужими языками, читал, изучал, выслушивал, вникал, сравнивал, обобщал. Став во главе великой революционной страны, он не упускал случая добросовестно и внимательно поучиться, расспросить, узнать. Он не уставал следить за жизнью всего мира. Он свободно читал и говорил по-немецки, французски, английски, читал по-итальянски. В последние годы своей жизни, заваленный работой, он на заседаниях Политбюро потихоньку штудировал чешскую грамматику, чтобы получить непосредственный доступ к рабочему движению Чехо-Словакии; мы его на этом иногда „ловили", и он не без смущения смеялся и оправдывался... А лицом к лицу с ним — Уэльс, воплощающий ту породу мнимо-образованных, ограниченных мещан, которые смотрят, чтобы не видеть, и считают, что им нечему учиться, ибо они обеспечены своим наследственным запасом предрассудков. А г. Макдональд, представляющий более солидную и мрачную пуританскую разновидность того же типа, успокаивает буржуазное общественное мнение: мы боролись с Москвой и мы победили Москву. Они победили Москву? Вот уж поистине бедные „маленькие человечки", хотя бы и высокого роста! Они и сейчас, после всего, что было, ничего не знают о своем собственном завтрашнем дне. Либеральные и консервативные дельцы без труда помыкают „эволюционными" социалистическими педантами, находящимися у власти,

компрометируют их и сознательно подготовляют их падение, не только министерское, но и политическое. Вместе с тем, однако, они подготовляют, но уже гораздо менее сознательно, приход к власти английских марксистов. Да, да, марксистов, „утомительных фанатиков классовой борьбы". Ибо и английская социальная революция совершится по законам, установленным Марксом.

Уэльс, со свойственным ему тяжеловатым, как пуддинг, остроумием, грозил некогда взять ножницы и отстричь Марксу его „доктринерскую" шевелюру и бороду, энглизировать Маркса, респектабилизировать и фабианизировать его. Но из этой затеи ничего не вышло и не выйдет. Маркс так и останется Марксом, как Ленин остался Лениным, после того как Уэльс подвергал его в течение часа мучительному воздействию тупой бритвы. И мы берем на себя смелость предсказать, что не в столь уж отдаленном будущем в Лондоне, например, на Трафальгар-сквере, воздвигнуты будут рядом две бронзовые фигуры: Карла Маркса и Владимира Ленина. Английские пролетарии будут говорить своим детям: „Как хорошо, что маленьким человечкам из Labor Party не удалось ни постричь, ни побрить этих двух гигантов!".

В ожидании этого дня, до которого я постараюсь дожить, я закрываю на мгновенье глаза и отчетливо вижу фигуру Ленина на кресле, на том самом, на котором его видел Уэльс, и слышу — на другой день после свидания с Уэльсом, а может быть и в тот же день — слова, произносимые с задушевным кряхтением: „Ну и мещанин! Ну и филистер!".

6 апреля 1924 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

О ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕМ.

(Национальное в Ленине).

Интернационализм Ленина не нуждается в рекомендации. Он лучше всего характеризуется непримиримым разрывом, в первые дни мировой войны, с той подделкой под интернационализм, которая господствовала во Втором Интернационале. Официальные вожди „социализма“ примиряли с парламентской трибуны интересы отечества с интересами человечества отвлеченными доводами в духе старых космополитов. На практике это вело, как мы знаем, к поддержке грабительского отечества силами пролетариата.

Интернационализм Ленина—никак не формула словесного примирения национального с интернациональным, а формула международного революционного действия. Мировая территория, захваченная так называемым цивилизованным человечеством, рассматривается, как единое поле гигантской борьбы, составными элементами которой являются отдельные народы и их классы. Ни один крупный вопрос не замыкается в национальные рамки. Видимые и невидимые нити соединяют его действенной связью с десятками явлений во всех концах мира. В оценке международных факторов и сил Ленин свободнее, чем кто-либо, от национальных пристрастий.

Маркс считал, что философы достаточно истолковывали мир, и видел задачу в том, чтобы переделать его. Но сам он до того не дожил—гениальный предтеча. Переделка старого мира ныне в полном ходу, и первым ее работником является Ленин. Его интернационализм есть практическая оценка и практическое вмешательство в ход исторических событий в мировом масштабе и в мировых целях. Россия и ее судьба—только один из элементов этой грандиозной исторической тяжбы, от исхода которой зависит судьба человечества.

Интернационализм Ленина не нуждается в рекомендации. Но в то же время сам Ленин глубоко национален. Он корнями уходит в новую русскую историю, собирает ее в себе, дает ей высшее выражение и именно таким путем достигает вершин интернационального действия и мирового влияния.

На первый взгляд характеристика фигуры Ленина, как „национальной", может показаться неожиданностью, но в сущности это разумеется само собой. Для того, чтобы руководить таким небывалым в истории народов переворотом, какой переживает Россия, нужна, очевидно, неразрывная, органическая связь с основными силами народной жизни—связь, идущая от глубочайших корней.

Ленин олицетворяет собою русский пролетариат,—молодой класс, которому политически, пожалуй, не больше лет, чем Ленину от роду, но класс глубоко национальный, ибо в нем резюмируется все предшествующее развитие России, в нем все ее будущее, с ним живет и падает русская нация. Свобода от рутины и шаблона, от фальши и условности, решимость мысли, отвага в действии—отвага, никогда не переходящая в безрассудство, характеризуют русский пролетариат и с ним вместе Ленина.

Природа русского пролетариата, которая делает его ныне важнейшей силой международной революции, подготовлена всем ходом национальной русской истории: варварской жестокостью самодержавного государства, ничтожеством привилегированных классов, лихорадочным развитием капитализма на дрожжах мировой биржи, выморочным характером русской буржуазии, упадочностью ее идеологии, дрянностью ее политики. Наше „третье сословие“ не имело и не могло иметь ни своей реформации, ни своей Великой Революции. Тем более всеобъемлющий характер приобрели революционные задачи русского пролетариата. Наша история не дала в прошлом ни Лютера, ни Фомы Мюнстера, ни Мирабо, ни Дантона, ни Робеспьера. Именно поэтому русский пролетариат имеет своего Ленина. Что потеряно в традиции, то выиграно в размахе революции.

Ленин отражает собой рабочий класс не только в его пролетарском настоящем, но и в его столь еще свежем крестьянском прошлом. У этого самого бесспорного из вождей пролетариата не только мужицкая внешность, но и крепкая мужицкая подоплека. Перед Смольным стоит памятник другому большому человеку мирового пролетариата: Маркс на камне, в черном сюртуке. Конечно, это мелочь, но Ленина даже мысленно никак не оденешь в черный сюртук. На некоторых портретах Маркс изображен с широко открытой крахмальной манишкой, на которой болтается что-то вроде монокля. Что Маркс не был склонен к кокетливости, это слишком ясно для тех, кто имеет понятие о духе Маркса. Но Маркс родился и вырос на иной национально-культурной почве, дышал иной атмосферой, как и верхи немецкого рабочего класса

своими корнями уходят не в мужицкую деревню, а в цеховое ремесло и в сложную городскую культуру средних веков.

Самый стиль Маркса, богатый и прекрасный, сочетание силы и гибкости, гнева и иронии, суровости и изысканности, несет в себе литературные и эстетические накопления всей предшествующей социально-политической немецкой литературы, начиная с реформации и ранее. Литературный и ораторский стиль Ленина страшно прост, утилитарен, аскетичен, как и весь его уклад. Но в этом могучем аскетизме нет и тени моралистики. Это не принцип, не надуманная система и уж, конечно, не рисовка, — это просто внешнее выражение внутреннего сосредоточения сил для действия. Это хозяйская мужицкая деловитость,— только в грандиозном масштабе.

Маркс—весь в „Коммунистическом манифесте", в предисловии к своей „Критике", в „Капитале". Если б он даже не был основателем Первого Интернационала, он навсегда остался бы тем, чем является сейчас. Наоборот, Ленин весь в революционном действии. Его научные работы—только подготовка к действию. Если бы он не опубликовал в прошлом ни одной книги, он навсегда вошел бы в историю таким, каким входит теперь: вождем пролетарской революции, основателем Третьего Интернационала.

Ясная научная система,—материалистическая диалектика,—необходима для действия того исторического размаха, какой выпал на долю Ленина,—необходима, но не достаточна. Тут нужна еще та подспудная творческая сила, которую мы называем интуицией: способность налету оценивать явления, отделять существенное и важное от шелухи и пустяков, за-

полнять воображением недостающие части картины, додумывать за других, и прежде всего за врагов, сочетать все это воедино и наносить удар одновременно с тем, как в голове складывается „формула“ удара. Это—интуиция действия. Одной стороной своей она сливается с тем, что по-русски зовется сметкой.

Когда Ленин, прищурив левый глаз, слушает радиотелеграмму, заключающую в себе парламентскую речь одного из империалистических вершителей судеб или очередную дипломатическую ноту,—сплетенье кровожадного коварства с полированным лицемерием,—он похож на крепко умного мужика, которого словами не проймешь и фразами не обманешь. Это—мужицкая сметка, только с высоким потенциалом, развернувшаяся до гениальности, вооруженная последним словом научной мысли.

Молодой русский пролетариат мог совершить то, что совершает, только рванув за собой на своих корнях тяжелую глыбу крестьянства. Все наше национальное прошлое подготовило этот факт. Но именно потому, что ходом событий у власти поставлен пролетариат, революция наша сразу и радикально преодолела национальную ограниченность и провинциальную захолустность прежней русской истории. Советская Россия стала не только убежищем Коммунистического Интернационала, но и живым воплощением его программы и его методов.

Теми неведомыми, наукой еще не раскрытыми путями, какими формируется человеческая личность, Ленин впитал в себя из национальной среды все, что понадобилось ему для величайшего в человеческой истории революционного действия. Именно потому,

что через Ленина социалистическая революция, давно имеющая свое интернациональное теоретическое выражение, нашла впервые свое национальное воплощение, Ленин стал в самом прямом и самом непосредственном смысле революционным руководителем мирового пролетариата. Таким его застиг день его 50-летия.

Л. Троцкий.

(«Правда» № 86, 23 апреля 1920 г.)

В стенограмме, изданной в 1919 г., (стр. 113-117) — совсем иная речь. Там о Ленине мало, совсем мало. Вранье! 1924 г.

О РАНЕНОМ.

(Речь на заседании В.Ц.И.К. 2 сентября 1918 г.).

Товарищи, те братские приветствия, какие я слышу, я истолковываю так, что сейчас в эти трудные дни и часы, мы все, как братья, испытываем глубокую потребность плотнее примкнуть друг к другу, к нашим Советским организациям, ближе стать под наше коммунистическое знамя. В эти исполненные тревогой дни и часы, когда наш и, можно ныне сказать с полным правом, мировой знаменосец пролетариата лежит на постели в борьбе со страшным призраком смерти, мы ближе друг другу, чем в часы побед...

Весть о покушении на тов. Ленина застигла меня и ряд других товарищей в Свияжске, на Казанском фронте. Там были удары, удары справа, удары слева, были удары в лоб. Но этот новый удар,—был удар в спину из глубокого тыла. Этот предательский удар открыл новый фронт—самый болезненный, самый тревожный для нас в настоящий момент: фронт, на котором жизнь Владимира Ильича борется со смертью. И какие бы поражения нас ни ожидали на том или другом фронте,—я твердо верю в близкую победу вместе с вами,—но отдельные частичные поражения не оказались бы для рабочего класса России и всего мира такими тяжкими, такими трагическими, каким оказался бы

роковой исход борьбы на том фронте, который проходит через грудную клетку нашего вождя. Можно понять,—стоит лишь вдуматься,—всю ту силу сосредоточенной ненависти, какую вызывала и будет вызывать эта фигура у всех врагов рабочего класса. Ибо природа поработала на славу, для того чтобы создать в одной фигуре воплощение революционной мысли и непреклонной энергии рабочего класса. Эта фигура— Владимир Ильич Ленин. Галлерея рабочих вождей, революционных борцов очень богата и разнообразна, и мне, как и многим другим товарищам, которые насчитывают третий десяток лет революционной работы, доводилось встречать в разных странах много разновидностей типа рабочего вождя, революционного представителя рабочего класса. Но только в лице тов. Ленина мы имеем фигуру, которая создана для нашей эпохи крови и железа. За нашей спиной осталась эпоха так называемого мирного развития буржуазного общества, когда противоречия накапливались постепенно, когда Европа переживала период так называваемого вооруженного мира, и кровь протекала почти только в колониях, где хищный капитал терзал наиболее отсталые народы. Европа наслаждалась так называемым миром капиталистического милитаризма. В эту эпоху формировались и складывались виднейшие вожди европейского рабочего движения. Среди них мы знаем такую превосходную фигуру, как Август Бебель, великий покойник. Но он отражал эпоху постепенного и медленного развития рабочего класса; ему, на-ряду с мужеством и железной энергией, свойственна была крайняя осторожность в движениях, ощупывание почвы, стратегия выжидания и подготовки. Он отражал процесс постепенного, молекулярного накопления сил

рабочего класса,—его мысль шла вперед шаг за шагом, как и немецкий рабочий класс в эпоху мировой реакции лишь постепенно поднимался с низу, освобождаясь от тьмы и предрассудков. Его духовная фигура росла, развивалась, становилась крепче и выше,—но все на той же почве выжидания и подготовки. Таков был Август Бебель в своих мыслях и методах—лучшая фигура прошлой, уже отошедшей в вечность эпохи.

Наша эпоха соткана из другого материала. Это эпоха, когда старые накопленные противоречия пришли к чудовищному взрыву, когда они прорвали оболочку буржуазного общества, когда все основы мирового капитализма потрясены до дна чудовишной европейской бойней народов,—эпоха, которая обнаружила все классовые противоречия, которая поставила народные массы перед страшной реальностью гибели миллионов во имя обнаженных интересов барыша. Вот для этой эпохи история Западной Европы позабыла, не догадалась или не сумела создать своего вождя,—и не даром: ибо все вожди, которые накануне войны пользовались наибольшим доверием европейского рабочего класса, отражали его вчерашний, но не сегодняшний день...

И когда наступила новая эпоха, она оказалась не по зубам прежним вождям—эта эпоха страшных потрясений и кровавых боев. Истории угодно было,—не случайно,—создать в России фигуру из одного цельного куска, фигуру, отражающую в себе всю нашу суровую и великую эпоху. Повторяю, не случайно. В 1847-м году отсталая тогда Германия выдвинула из своей среды фигуру Маркса, величайшаго борца-мыслителя, предвосхитившего пути новой истории. Гер-

мания была тогда отсталой страной, но волею истории интеллигенция Германии переживала тогда период революционого развития, и величайший представитель интеллигенции, богатый всей ее наукой, порвал с буржуазным обществом, встал на почву революционного пролетариата и выработал программу рабочего движения и теорию развития рабочего класса. То, что предрекал Маркс в ту эпоху, то наша эпоха призвана исполнить. А для этого ей нужны новые вожди, которые были бы носителями великого духа нашей эпохи, когда рабочий класс, поднявшись до высоты своей исторической задачи, ясно увидел перед собой великий рубеж, через который ему необходимо перешагнуть, если человечеству суждено жить, а не гнить, как падали, на большой исторической дороге. Для этой эпохи русская история создала нового вождя. Все, что было в старой революционной интеллигенции лучшего, ее дух самопожертвования, дерзания, ненависти к гнету,—все это сосредоточилось в этой фигуре, которая, однако, бесповоротно, еще в период юности, порвала связь с миром интеллигенции, ввиду ее связи с буржуазией, и воплотила в себе смысл и сущность развития рабочего класса. Опираясь на молодой революционный пролетариат России, пользуясь богатым опытом мирового рабочего движения, превратив его идеологию в рычаг действия, эта фигура ныне поднялась на политическом небосклоне во весь рост. Это—фигура Ленина, величайшего человека нашей революционной эпохи. (Аплодисменты.)

Я знаю, и вы вместе со мной, товарищи, что судьба рабочего класса не зависит от отдельных личностей; но это не значит, что личность безразлична в истории нашего движения и развития рабочего класса.

Личность не может лепить рабочий класс по образу и подобию своему и не может указать пролетариату по произволу тот или другой путь развития, но она может способствовать выполнению его задач, ускорять достижение его цели. Карлу Марксу указывали его критики, что он предвидел революцию гораздо ближе, чем она осуществляется на деле. На это отвечали с полным основанием, что он стоял на высокой горе, и потому расстояния ему казались короче. Владимира Ильича многие—и я в том числе—критиковали не раз за то, что он как бы не замечал многих второстепенных причин, побочных обстоятельств. Я должен сказать, что для эпохи „нормального", медленного развития это, может быть, было бы недостатком для политического деятеля; но это величайшее преимущество т. Ленина, как вождя новой эпохи, когда все побочное, все внешнее, все второстепенное отпадает и отступает, когда остается только основной непримиримый антагонизм классов в грозной форме гражданской войны. Устремив вперед свой революционный взор, подмечать и указывать главное, основное, самое нужное—этот дар свойствен Ленину в высшей степени. И те, кому, как мне, суждено было в этот период близко наблюдать работу Владимира Ильича, работу его мысли, те не могли не относиться с прямым и непосредственным восторгом,—я повторяю: именно с восторгом,—к этому дару проницательной, сверлящей мысли, которая отметает все внешнее, случайное, поверхностное, намечая основные пути и способы действия. Только тех вождей рабочий класс научается ценить, которые, открыв путь развития, идут непоколебимо, хотя бы даже предрассудки самого пролетариата становились временами

препятствием на этом пути. К дару могучей мысли у Владимира Ильича присоединяется непоколебимость воли, — и вот эти качества в соединении создают подлинного революционного вождя, слитого из мужественной непреклонной мысли и стальной непоколебимой воли.

Какое счастье, что все, что мы говорим, и слышим, и читаем в резолюциях о Ленине, не имеет формы некролога. А ведь до этого было так близко... Мы уверены, что на этом близком фронте, который проходит там, в Кремле, победит жизнь, и что Владимир Ильич скоро вернется в наши ряды.

Если, товарищи, я сказал, что он воплощает собою мужественную мысль и революционную волю, рабочего класса, то можно сказать, что есть внутренний символ, как бы сознательный умысел истории в том, что в эти, трудные часы, когда русский рабочий класс на внешних фронтах, напрягши все силы, борется с чехо-словаками, белогвардейцами, наемниками Англии и Франции, наш вождь борется против ран, нанесенных ему агентами тех же белогвардейцев, чехо-словаков, наемниками Англии и Франции. Тут внутренняя связь и глубокий исторический символ! И точно так же, как мы все уверены, что в той нашей борьбе на чехо-словацком, англо-французском и белогвардейском фронте мы крепнем с каждым днем и с каждым часом (аплодисменты),—об этом я могу сказать, как очевидец, непосредственно прибывший с театра военных действий—да, мы крепнем с каждым днем, мы завтра будем сильнее, чем были вчера, послезавтра сильнее, чем завтра—и я не сомневаюсь, что близок день, когда мы сможем сказать вам, что Казань, Симбирск, Самара, Уфа и другие временно захваченные города

возвратятся в нашу советскую семью,—так же мы надеемся, что одновременно и быстрым темпом пойдет процесс восстановления тов. Ленина. Но и сейчас его образ, прекрасный образ раненого вождя, на время вышедшего из строя, стоит неотразимо перед нами. Мы знаем: ни на минуту он не уходил из наших рядов, ибо даже подкошенный предательскими пулями он будит нас всех, призывает и толкает вперед. Я не наблюдал ни одного товарища, ни одного честного рабочего, у которого, под влиянием известия о предательском покушении на Ленина, опускались бы руки, но я видел десятки, у которых сжимались кулаки, протягивались руки к оружию; я слышал сотни и тысячи уст, которые клялись беспощадной местью классовым врагам пролетариата. Нет надобности рассказывать, как отозвались сознательные борцы на фронте, когда узнали, что Ленин лежит с двумя пулями в теле. О Ленине никто не мог сказать, что в его характере не хватает металла; сейчас у него не только в духе, но и в теле металл, и таким он будет еще дороже рабочему классу России.

Я не знаю, дойдут ли сейчас наши слова и биения наших сердец до постели тов. Ленина, но я не сомневаюсь все же, что он их чувствует. Я не сомневаюсь, что в своей лихорадочной еще температуре он знает, что и наши сердца бьются сейчас удвоенным, утроенным темпом. Все мы сознаем теперь ярче, чем когда бы то ни было, что мы члены одной коммунистической советской семьи. Никогда собственная жизнь каждого из нас не казались нам такой второстепенной и третьестепенной вещью, как в тот момент, когда жизнь самого большого человека нашего времени подвергается смертельной опасности. Каждый дурак может

прострелить череп Ленина, но воссоздать этот череп— это трудная задача даже для самой природы.

Но нет, он встанет вскоре—для мысли и творчества, для борьбы вместе с нами. Мы же, со своей стороны, обещаем дорогому вождю, пока в наших собственных черепах есть еще сила мысли и в сердцах наших бьется горячая кровь, мы останемся верны знамени коммунистической революции. Мы будем бороться с врагами рабочего класса до последней капли крови, до последнего издыхания. (Шумные и долго несмолкающие аплодисменты покрывают речь тов. Троцкого.)

О БОЛЬНОМ.

(Из доклада на VII всеукраинской партийной конференции, 5 апр. 1923 г.).

Товарищи, в отношении ясности мысли и твердости воли нашей партии мы имели некоторую дополнительную проверку за этот год. Проверка была тяжела, потому что она была дана фактом, который и сейчас тяготеет над сознанием всех членов партии и широчайших кругов трудящегося населения, вернее сказать, над всем трудящимся населением нашей страны, а, в значительной части, всего мира. Я говорю о болезни Владимира Ильича. Когда последовало ухудшение в начале марта, и Политбюро Ц. К. собралось обменяться мнениями о том, что нужно довести до сведения партии, до сведения страны об ухудшении в здоровьи тов. Ленина, то, товарищи, я думаю, что вы все отдадите себе отчет, в каком настроении проходило заседание Политбюро, когда мы должны были сообщить партии и стране этот первый тяжкий, тревожный бюллетень. Разумеется, и в такую минуту мы оставались политиками. Никто в этом не сделает нам упрека. Мы думали не только о здоровьи тов. Ленина,—конечно, в первую голову, мы были заняты в те минуты его пульсом, его сердцем, его температурой,—но мы думали также о том, какое

впечатление это число ударов его сердца произведет на политический пульс рабочего класса и нашей партии. С тревогой и, вместе с тем, с глубочайшей верой в силы партии, мы сказали, что нужно в первый же момент обнаружения опасности поставить о ней в известность партию и страну. Никто не сомневался, что наши враги постараются использовать это известие для того, чтобы смутить население, особенно крестьян, пустить тревожные слухи и пр., но никто из нас ни на секунду не сомневался в том, что нужно немедленно сказать партии, как обстоит дело, потому что сказать, что есть — значит повысить ответственность каждого члена партии. Партия наша — большая, полумиллионная партия, большой коллектив, с большим опытом, но в этом полумиллионе людей Ленин занимает свое место, которое, товарищи, ни с чем не сравнимо. Нет и не было в историческом прошлом влияния одного лица на судьбы не только одной страны, но на судьбы человечества, не было такого масштаба, не создан он, чтобы позволил нам измерить историческое значение Ленина. И вот почему факт, что он отошел длительно от работы, и что положение его тяжко, не мог не внушать глубокой политической тревоги. Конечно, конечно, конечно, мы знаем твердо, что рабочий класс победит. Мы поем: „никто не даст нам избавления“ — в том числе и „ни герой“... И это верно, но лишь в последнем историческом счете, т.-е. в конечном счете истории рабочий класс победил бы, если бы на свете не было Маркса, если бы на свете не было Ульянова-Ленина. Рабочий класс вырабатывал бы те идеи, которые ему нужны, те методы, которые ему необходимы, но медленнее. То обстоятельство, что рабочий класс на двух хребтах своего

потока поднял такие две фигуры, как Маркс и Ленин, является колоссальным плюсом революции. Маркс—пророк со скрижалями, а Ленин—величайший выполнитель заветов, научающий не пролетарскую аристократию, как Маркс, а классы, народы, на опыте, в тягчайшей обстановке, действуя, маневрируя и побеждая. Этот год в практической работе нам пришлось провести лишь при частичном участии Владимира Ильича. В идейной области, мы от него услышали недавно несколько напоминаний и указаний, которых хватит на ряд лет,—по вопросу о крестьянстве, о государственном аппарате и по национальному... И вот, говорю, нужно было сообщить об ухудшении его здоровья. Мы опрашивали себя с естественной тревогой, какие выводы сделает беспартийная масса, крестьянин, красноармеец, ибо крестьянин в нашем государственном аппарате верит в первую голову Ленину. Помимо всего прочего, Ильич есть великий нравственный капитал госаппарата во взаимоотношениях между рабочим классом и крестьянством. Не подумает ли крестьянин,—спрашивали себя иные в нашей среде,—что с длительным отстранением от работ Ленина переменится его политика? Как же реагировала партия, рабочая масса, страна?.. После того, как появились первые тревожные бюллетени, партия в целом сомкнулась, подтянулась, нравственно приподнялась. Конечно, товарищи, партия состоит из живых людей, у людей есть недостатки, недочеты, и у коммунистов в том числе, есть много „человеческого, слишком человеческого“, как говорят немцы, есть групповые и личные столкновения, серьезные и мелочные, есть и будут, ибо без этого большая партия жить не может. Но нравственная сила, политический удельный вес партии

определяется тем, что всплывает, при такого рода трагической встряске, наверх: воля к единству, дисциплина или же второстепенное и личное, человеческое, слишком человеческое. И вот, товарищи, я думаю, что этот вывод мы можем теперь уже сделать с полной уверенностью; почувствовав, что она на длительный период лишилась руководства Ленина, партия сомкнулась, отмела все, что могло бы угрожать опасностью ясности ее мысли, единству ее воли, ее боеспособности.

Перед тем, как сесть в вагон для поездки сюда, в Харьков, я разговаривал с нашим московским командующим, Николаем Ивановичем Мураловым, которого многие из вас знают, как старого партийца, о том, как воспринимает красноармеец положение в связи с болезнью Ленина. Муралов мне сказал: „в первый момент весть подействовала, как удар молнии, все откинулись, а затем задумались больше и глубже о Ленине"... Да, товарищи, беспартийный красноармеец задумался теперь по-своему, но очень глубоко, о роли личности в истории, о том, что мы, люди старшего поколения, когда были гимназистиками, студентиками или молодыми рабочими, изучали по книжкам, в тюрьмах, на каторге, в ссылке, размышляли и спорили об отношении „героя" и „толпы", субъективного фактора и объективных условий и пр., и пр. И вот ныне, в 1923 г., наш молодой красноармеец конкретно задумался об этих вопросах сотнями тысяч умов, а с ним вместе задумался всероссийский, всеукраинский и всякий иной крестьянин сотней миллионов умов о роли личности Ленина в истории. А как-же отвечают наши политруки, наши комиссары, секретари ячеек? Они отвечают так: Ленин—гений,

гений рождается раз в века, а гениев—вождей рабочего класса, их два только насчитывает мировая история: Маркс и Ленин. Создать гения нельзя даже и по постановлению могущественнейшей и дисциплинированной партии, но попытаться в наивысшей мере, какая достижима, заменить его во время его отсутствия можно: удвоением коллективных усилий. Вот теория личности и класса, которую в популярной форме наши политруки излагают беспартийному красноармейцу. И это правильная теория: Ленин сейчас не работает,—мы должны работать вдвое дружнее, глядеть на опасности вдвое зорче, предохранять от них революцию вдвое настойчивее, использовать возможности строительства вдвое упорнее. И мы это сделаем все: от членов Ц.К. до беспартийного красноармейца...

Работа у нас, товарищи, очень медлительная, очень частичная, хотя бы в рамках большого плана, методы работы „прозаические": баланс и калькуляция, продналог и экспорт хлеба—все это мы делаем шаг за шагом, кирпичик к кирпичику... нет ли тут опасности крохоборческого перерождения партии? А подобного перерождения мы также не можем допустить, как и нарушения ее действенного единства, хотя бы в малейшей степени, ибо, если даже нынешний период затянется еще „всерьез и надолго", то ведь не навсегда. А может быть даже и не надолго. Революционная вспышка широкого масштаба, как начало европейской революции, может явиться раньше, чем многие из нас теперь думают. И если мы из многих стратегических поучений Ленина что должны особенно твердо помнить, так это то, что он называет политикой крупных поворотов: сегодня на баррикады, а завтра—в хлев III Государственной Думы, сегодня

призыв к мировой революции, к мировому октябрю, а завтра—на переговоры с Кюльманом и Черниным, подписывать похабный Брест-Литовский мир. Обстановка переменилась, или мы по-новому учли ее—поход на Запад, „даешь Варшаву"... Обстановку переучли—Рижский мир,—тоже довольно похабный мир, как вы знаете все... А затем—упорная работа, кирпичик к кирпичику, экономия, сокращение штатов, проверка: нужно ли пять телефонисток или три, если достаточно трех, не смей сажать пять, ибо мужику придется дать несколько лишних пудов хлеба,—мелкая повседневная крохоборческая работа, а там, глядь, из Рура полыхнет пламя революции; что же, оно застигнет нас переродившимися? Нет, товарищи, нет! Мы не перерождаемся, мы меняем методы и приемы, но революционное самосохранение партии остается для нас превыше всего. Балансу учимся и в то же время на Запад и на Восток глядим зорким глазом, и врасплох нас события не застанут. Путем самоочищения и расширения пролетарской базы укрепляем себя... Идем на соглашательство с крестьянством и с мещанством, допускаем нэпманов, но в партию нэпманов и мещанства не пустим, нет,—серной кислотой и каленым железом выжжем его из партии. (Аплодисменты.) И на XII Съезде, который будет первым Съездом после Октября без Владимира Ильича, и вообще одним из немногих Съездов в истории нашей партии без него, мы скажем друг другу, что к числу основных заповедей мы в наше сознание острым резцом впишем, врежем: не окостеневай, помни искусство крутых поворотов, маневрируй, но не растворяйся, входи в соглашение с временным или длительным союзником, но не позволяй ему вклиниться внутрь

партии, оставайся самим собой, авангардом мировой революции. И если раздастся с Запада набат,—а он раздастся,—то хоть мы и будем по сию пору, по грудь, погружены в калькуляцию, в баланс и в Нэп, мы откликнемся без колебаний и без промедления: мы— революционеры с головы до ног, мы ими были, ими остаемся, ими пребудем до конца. (Бурные аплодисменты, все стоя аплодируют.)

ОБ УМЕРШЕМ.

Ленина нет. Нет более Ленина. Темные законы, управляющие работой кровеносных сосудов, оборвали эту жизнь. Медицина оказалась бессильной совершить то, чего от нее со страстью ждали, требовали миллионы человеческих сердец.

Сколько среди них таких, которые отдали бы, не задумавшись, свою собственную кровь до последней капли, только бы оживить, возродить работу кровеносных сосудов великого вождя, Ленина-Ильича, единственного, неповторимого. Но чудо не совершилось там, где бессильной оказалась наука. И вот Ленина нет. Слова эти обрушиваются на сознание, как гигантская скала в море. Можно ли верить, мыслимо ли признать?

Сознание трудящихся всего мира не захочет принять этот факт, ибо страшно силен еще враг, долог путь, не закончена великая работа—величайшая в истории; ибо Ленин нужен мировому рабочему классу, как, может быть, никогда никто не нужен был в человеческой истории.

Более 10 месяцев длился второй приступ болезни, более тяжкий, чем первый. Кровеносные сосуды, по горькому выражению врачей, все время „играли“. Это была страшная игра жизнью Ильича. Можно было

ждать и улучшения, почти полного восстановления, но можно было ждать и катастрофы. Мы все ждали выздоровления, а пришла катастрофа. Дыхательный центр мозга отказался служить—и потушил центр гениальнейшей мысли.

И вот нет Ильича. Партия осиротела. Осиротел рабочий класс. Именно это чувство порождается прежде всего вестью о смерти учителя, вождя.

Как пойдем вперед, найдем ли дорогу, не собьемся ли? Ибо Ленина, товарищи, с нами больше нет!

Ленина нет, но есть ленинизм. Бессмертное в Ленине—его учение, его работа, его метод, его пример—живет в нас, в той партии, которую он создал, в том первом рабочем государстве, которое он возглавлял и направлял.

Наши сердца потому поражены сейчас такой безмерной скорбью, что мы все, великой милостью истории, родились современниками Ленина, работали рядом с ним, учились у него. Наша партия есть ленинизм в действии, наша партия есть коллективный вождь трудящихся. В каждом из нас живет частица Ленина—та, что составляет лучшую часть каждого из нас.

Как пойдем вперед?—С фонарем ленинизма в руках. Найдем ли дорогу?—Коллективной мыслью, коллективной волей партии найдем!

И завтра, и послезавтра, и через неделю, и через месяц мы будем спрашивать себя, неужели Ленина нет? Ибо невероятным, невозможным, чудовищным произволом природы долго еще будет казаться его смерть.

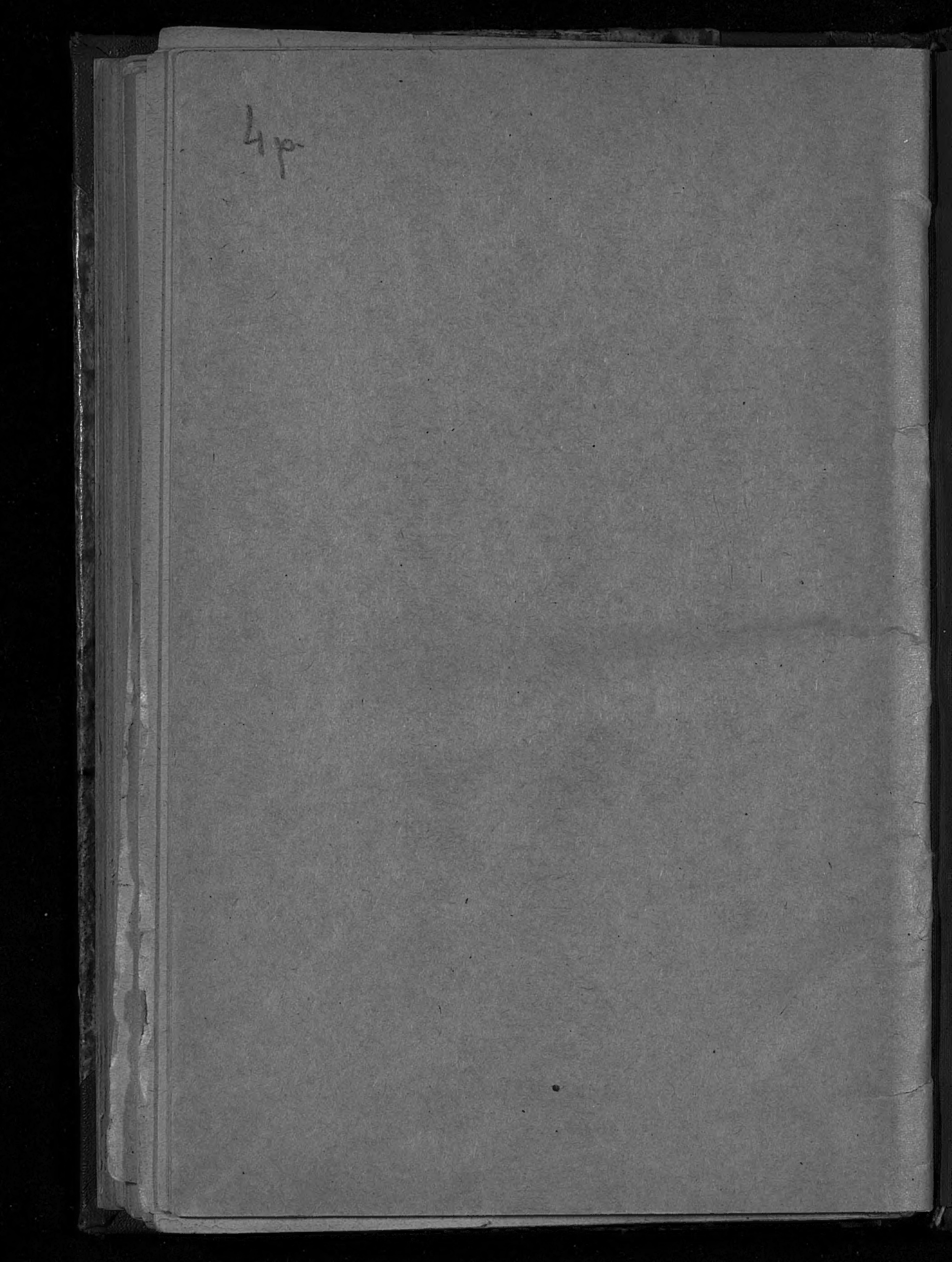
Пусть тот же укол иглы, который мы чувствуем, который будет каждый раз чувствовать сердце при мысли о том, что Ленина более нет, станет для ка-

ждого из нас напоминанием, предостережением, призывом:—твоя ответственность повысилась. Будь достоин воспитавшего тебя вождя.

В скорби, в трауре, в горе, сомкнем наши ряды и сердца, сомкнем их теснее для новых боев.

Товарищи-братья, Ленина с нами нет. Прощай, Ильич! Прощай, вождь!..

Тифлис, вокзал,
22 января 1924 г.


4p

